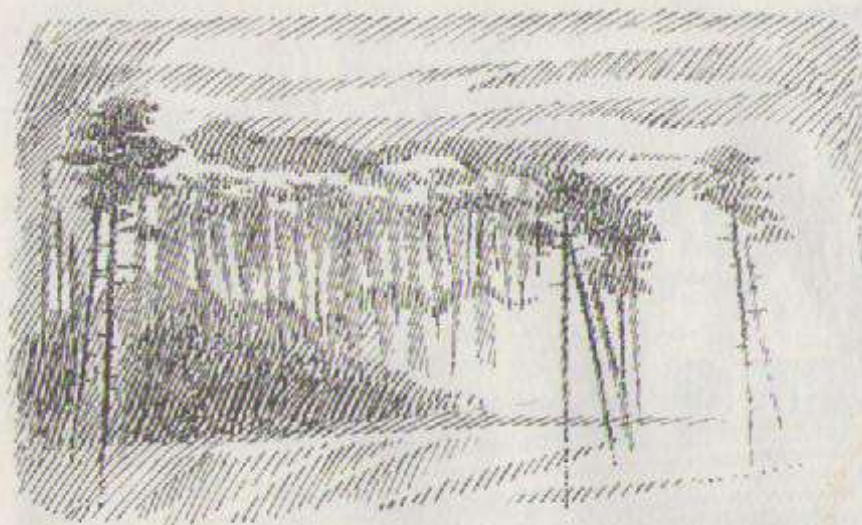




Людия Обухова

Весна
чаще,
чем раз
в году

Д



ЛИДИЯ ОБУХОВА

*Весна
чаще,
чем раз
в году*

ПОВЕСТЬ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

Рисунки Л. Альгиной

Обухова Л. А.
026 Весна чаще, чем раз в году: Повесть / Переизд.
Рис. Л. Альгиной. — М.: Дет. лит., 1980. — 95 с.,
В пер.: 30 к.

Романтическая повесть о влюбленных, о первых самостоятельных шагах девушки и юноши, о выборе жизненного пути молодой семьи. Герой повести, продолжая дело отца, решает стать пограничником. В повести описана жизнь и быт простых людей, живущих на окраине нашей страны, и также романтика пограничной службы.

О 70803—401 249—80
М101(03)80

P2

Иллюстрации.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.



1

— Лёнька, — сказала я утром, трогая свои отросшие волосы, — мне нужна голубая ленточка.

— Здравствуй, — ответил он, приоткрывая один крупный голубой глаз. Лёня всегда говорит мне утром «здравствуй», без этого день у нас не начинается. — Здравствуй. Во-первых, тебе нужна красная ленточка, а не голубая. В одиннадцать часов откроются магазины, и купим.

— А во-вторых, — вразумляюще сказала я, — в одиннадцать мы будем уже в поезде. Ты забыл, что мы сегодня уезжаем?

Лёня открыл второй глаз и проснулся окончательно.

— Ничего, — подумав, ответил он. — Купим ленточку по дороге. Ведь поезд будет же где-нибудь останавливаться?..

Но поезд не останавливался. Это был скорый поезд, очень скорый.

— Как медленно, оказывается, летают птицы! — удивлялся Лёнька, глядя в окно.

Поезд спешил в весну.

5

Мы стояли в коридоре, влипнув в окно, как в телевизор.

Уже показались первые желтые цветочки. Через час — три грача, черных на черной пашне. В третьем часу полудни — дикие, одетые робким цветением дерева. К вечеру — первые березы в цыплячьих листиках и разлив неизвестной реки: ясные воды, в которых невесомо, как посреди воздуха, парили лапчатые кусты на ногах-отражениях.

Солнце, оранжевое и стремительное, словно снаряд, неслось над деревьями, срезая верхушки. Но потом остыло, притомилось, малиновая его голова покрылась сизым пеплом; горизонт срезал киль — и поплыла, покачиваясь, межпланетная ладья со скучающими астролетчиками. Ну и пусть они скучают на здоровье. Эта планета наша, мы на ней не собирались скучать.

Едва зашло юпитероподобное солнце с поперечными полосами туч, как с другой стороны уже поднялась такая же юпитероподобная луна, огромная, чайная и тоже перечерченная длинными облаками.

— Вступаем в неизвестные страны, — торжественно сказал Лёня. — Открываем их. Пусть мы не Колумбы, но мы — Америго Веспуччи, и нашими именами они будут названы!

Поезд шел и шел по темным степям. Мы пересекли ночной Днепр. Он был широк, с тусклым лунным перстом вдоль течения. Мы смотрели на его темные воды и благодарно повторяли:

— Это ведь Днепр! Вот так Днепр! Ну и Днепр!

Мы тихонько лежали на жестких верхних полках, и под синим светом ночника лицо у Лёни было напряженно-ожидаящим, словно ему снился сон из той, старой жизни, когда мы не знали друг друга.

Я протянула руку, чтобы коснуться его раскрытой ладони и узнать, что он теплый и дышит. Мне тревожно видеть спящих: а вдруг они умерли? Теперь это ощущение не такое острое, как два года назад, понемногу я от него избавляюсь и, наверное, избавлюсь совсем.

О смерти мне всегда думалось без страха.

Отец сказал:

— Это потому, что ты молода. А когда ощущаешь себя молодым каждой кровинкой и каждым мускулом, это заполняет человека без остатка.

Он никогда не употреблял слов «девочка» или «ребенок», а именно так — человек, словно я ему всегда, с самого рождения, была ровней.

В тот день мы возвращались с кладбища. Я молчала, а папа говорил и говорил, блуждая по сторонам взглядом. На нем был черный галстук и серая шляпа. Черной шляпы у него не нашлось, да и на серой явственно проступал след от зеленого мазка, хотя я долго чистила пятно бензином. Наша медленная дорога так и запомнилась мне похожим на щелчки шуршаньем ломких листьев под ногами и летучим запахом бензина.

— Когда утомляешься, — говорил папа, — и душевно тупеешь, то жаждешь отдыха. Все равно, как бы он ни назывался, хотя бы даже смертью. Мама очень устала, ты должна понять это.

Я кивнула, не открывая рта, полного соленым комом. Еще бы мне не знать, как устала мама! Чтобы быть рядом с нею последние месяцы, я поступила в больницу нянкой.

Мама стала так слаба к этому времени, что не смогла мне запретить, а папа, кажется, просто не заметил, куда я уйду по утрам: в школу или в больницу. Он жил как во сне. После завтрака, как обычно, уходил в кинотеатр, где уже много лет рисовал рекламные щиты новых кинокартин. Потом брел в больницу и, если его пропускали, часами сидел у маминной кровати, держа ее за руку. А вечером, дома, при электрическом свете, писал мамин портрет...

— Но ты ничего не бойся, дочь, — утешал он меня в тот день, когда мы возвращались с кладбища. — Со своей собственной смертью человек никогда не встречается: пока есть он — нет ее. А когда приходит она — его уже нет.

На следующий день я сказала отцу, что останусь работать в больнице, поступлю на вечерние курсы медсестер,

а в конце концов стану врачом, потому что я не могу допустить, чтобы люди умирали.

Я промолчала о том, что на папин заработок нам и не прожить теперь: чуть не треть зарплаты у него уходила на краски и холсты. За тюбик парижской индиго он готов был отдать что угодно.

— Хорошо, дочь, — ответил он, свесив голову, — мне остается только согласиться. Рано или поздно ты неминуемо должна окунуться в жизнь. А это варево из всех цветов спектра. Но если ты хороший человек, ничто плохое к тебе не пристанет. А если дрянь, то о тебе и беспокоиться нечего.

Вот каким был единственный воспитательный разговор моего отца. Я обещала себе, что не стану его разочаровывать. Хотя папа всю жизнь, кажется, только и делал, что разочаровывал всех вокруг. Например, он так и не стал членом Союза художников.

— Не люблю писать заявления, — твердил он.

Раза два к нам заходили знатоки и, глядя на рисунки, незаметно пожимали плечами. Но, думаю, папа это отлично видел и больше их не приглашал.

Со стороны он казался странным человеком: одет плохо, в потертую вельветовую куртку, брлся редко, много курил и часто, прямо с улицы, приводил незнакомых людей в гости. Мать грела им пустой чай и, сидя в сторонке, слушала разговоры, сама не разжимая губ.

Хотя сейчас мне кажется, что, может быть, ей это все тоже было интересно, иначе зачем бы она слушала?

— Глупая ты, — говорила тетка, — куда же ей было деваться?

Но я с теткой не могла согласиться: человеку всегда есть куда деваться! Особенно если ему плохо — кто заставит его терпеть?

— Ничего, обожди, — злорадно бормотала тетка. — Вот прижучит тебя какой-нибудь хлюст... — Но тотчас пугалась своего предсказания: — Не дай господи, типун мне на язык. Сирота ведь...

Тетка жила в пригороде, в собственном домике с садом и огородом. Когда я была маленькая, мне этот сад казался



настоящими джунглями — так сильно и терпко пахли кусты черной смородины, такая густая была под ними тень, если вползти на четвереньках...

Как странно! Пока мы растем, все вокруг нас меняется; предметы становятся мельче и проще; но что-то одно непременно остается таким же, как раньше, хранится в самой глубине памяти. Я знаю, что всегда буду помнить замшевого конька с тетиной крыши — безглазого, с четырехугольной энергичной мордой — именно таким, как он мне показался в первый раз: будто он живой и скачет поперек ветру.

Впрочем, тетка не была уж так черства, как казалось мне в детстве. Ведь это в ее домике мы прожили первые дни с Лёнькой, пока он не продал магнитофон и мы не уехали в Карпаты.

Говорят, что насекомые — бабочки или комары — за много километров чуют нужный запах или же ловят усиками движение магнитных токов. В общем, безошибочно устремляются, куда им надо. И попадают вовремя.

Тетка совершенно искренне считала, что после смерти мамы она автоматически стала главным лицом в моей жизни, и все ее внутренние антенны были нацелены на меня.

Когда я приезжала к ней по воскресеньям, она, после того как все ее наказы были выполнены — и воды я ей впрок в кадку натаскала, и снег от крыльца разгребу, — садилась за круглый стол под вязаной скатертью, раскидывала атласные карты и по их черным и красным червячкам пыталась угадать мою судьбу. Не знаю, чего бы она хотела для меня. Наверно, все-таки не повторения своей собственной или маминой. Тетка закидывала карты в будущее, как рыбак сеть — вслепую. Авось запутается какое ни на есть счастье!

Хотя что такое счастье, до сих пор не знает никто. Пушкин писал, что оно покой и воля. В одной же старой книге, которая хранилась теткой еще от бабушки, написано: покой — край всех желаний. Край — значит, конец. Но может ли быть счастье без желаний?

— Желать надо того, что возможно, — наставляла тетка,

тасуя колоду. — Во-первых, хлебную профессию. Во-вторых, мужа трезвого и не обидчика. В-третьих, детей послушных. У женщины счастье хоть простое, а в нем вся жизнь вмещается.

— Желать надо только невозможного! — наперекор ей говорил папа. — Без желаний человек мертв. Большие желания греют изнутри, как атомное ядро планету. Закидывая лоб к небу, верь в высокое. Так только что-нибудь и разглядишь в жизни или в другом человеке.

Но на одном они сходились.

— Дай бог тебе счастья, — вздыхала тетка, чмокая меня на прощание в щеку.

Отец целовал меня два раза в год: на Новый год и в день рождения. Тогда же он сердито приказывал:

— Будь счастливой. Будь!

А во мне счастье бродило само собой. Мне даже стыдно, что его так много. И самое главное, что оно никогда не кончится, это я уж знаю, только помалкиваю, чтоб не обижать других. Просто счастье разлито по самой земле. И вот когда я про это узнала.

Мы были с Лёней за городом. Узкая обледенелая тропка ко дну оврага шла по корням елей. А внизу, между замшелыми стволами, неожиданно открылась чаша омутка — вода в снегу. Желтое солнце косо, бледно легло отсветом на один ее край. Другой оставался мутно-зеленым.

— Быть бы тебе деревом. Заколдовал бы тебя здесь, — сказал Лёнька ревниво.

Шел ветерок по верхам, нестуденый, весенний. Птица-ползунок карабкалась по стволу. Неизвестно, чего было больше вокруг: черного — оттаявшей земли или белого — сохранившегося снега. А надо всем, закрывая небо, заслоняя землю, бесовские, вымороченные еловые волосы.

Лишь на лесной тропе в пупырчатом снегу лежала оброненная розовая ленточка: солнце с трудом проридилось сквозь чашу и вот выбилось одним лучом.

— Ой, посмотри: на хвое-то капельки! Одна сбивает другую. Как огни на рекламе.

— Это же чудо! Не было у тебя такого апреля в жизни:

настоящими джунглями — так сильно и терпко пахли кусты черной смородины, такая густая была под ними тень, если вползти на четвереньках...

Как странно! Пока мы растем, все вокруг нас меняется; предметы становятся мельче и проще; но что-то одно непременно остается таким же, как раньше, хранится в самой глубине памяти. Я знаю, что всегда буду помнить замшевого конька с теткой крыши — безглазого, с четырехугольной энергичной мордой — именно таким, как он мне показался в первый раз: будто он живой и скачет поперек ветру.

Впрочем, тетка не была уж так черства, как казалось мне в детстве. Ведь это в ее домике мы прожили первые дни с Лёнькой, пока он не продал магнитофон и мы не уехали в Карпаты.

Говорят, что насекомые — бабочки или комары — за много километров чувствуют запах или же ловят усиками движение магнитных токов. В общем, безошибочно устремляются, куда им надо. И попадаются вовремя.

Тетка совершенно искренне считала, что после смерти мамы она автоматически стала главным лицом в моей жизни, и все ее внутренние антенны были нацелены на меня.

Когда я приезжала к ней по воскресеньям, она, после того как все ее наказания были выполнены — и воды я ей впрок в кадку натаскала, и снег от крыльца разгребу, — садилась за круглый стол под вязаной скатертью, раскидывала атласные карты и по их черным и красным червячкам пыталась угадать мою судьбу. Не знаю, чего бы она хотела для меня. Наверно, все-таки не повторения своей собственной или маминной. Тетка закидывала карты в будущее, как рыбак сеть — вслепую. Авось запутается какое-нибудь счастье!

Хотя что такое счастье, до сих пор не знает никто. Пушкин писал, что оно покой и воля. В одной же старой книге, которая хранилась теткой еще от бабушки, написано: покой — край всех желаний. Край — значит, конец. Но может ли быть счастье без желаний?

— Желать надо того, что возможно, — наставляла тетка,

тасуя колоду. — Во-первых, хлебную профессию. Во-вторых, мужа трезвого и не обидчика. В-третьих, детей послушных. У женщины счастье хоть простое, а в нем вся жизнь вмещается.

— Желать надо только невозможного! — наперекор ей говорил папа. — Без желаний человек мертв. Большие желания греют изнутри, как атомное ядро планету. Закидывай лоб к небу, верь в высокое. Так только что-нибудь и разглядишь в жизни или в другом человеке.

Но на одном они сходились.

— Дай бог тебе счастья, — вздыхала тетка, чмокая меня на прощание в щеку.

Отец целовал меня два раза в год: на Новый год и в день рождения. Тогда же он сердито приказывал:

— Будь счастливой. Будь!

А во мне счастье бродило само собой. Мне даже стыдно, что его так много. И самое главное, что оно никогда не кончится, это я уж знаю, только помалкиваю, чтоб не обижать других. Просто счастье разлито по самой земле. И вот когда я про это узнала.

Мы были с Лёней за городом. Узкая обледенелая тропка ко дну оврага шла по корням елей. А внизу, между замшелыми стволами, неожиданно открылась чаша омутка — вода в снегу. Желтое солнце косо, бледно легло отсветом на один ее край. Другой оставался мутно-зеленым.

— Быть бы тебе деревом. Заколдовал бы тебя здесь, — сказал Лёнька ревниво.

Шел ветерок по верхам, нестуденый, весенний. Птица-ползунок карабкалась по стволу. Неизвестно, чего было больше вокруг: черного — оттаявшей земли или белого — сохранившегося снега. А надо всем, закрывая небо, заслоняя землю, бесовские, вымороженные еловые волосы.

Лишь на лесной тропе в пупырчатом снегу лежала оброненная розовая ленточка: солнце с трудом проридалось сквозь чащу и вот выбилось одним лучом.

— Ой, посмотри: на хвое-то капельки! Одна сбивает другую. Как огни на рекламе.

— Это же чудо! Не было у тебя такого апреля в жизни!

папоротник, вытягивая листья, капель по веткам развешана. Под снегом вода. Ну ты хотя бы чувствуешь, что это чудо?! — Он говорил и все оглядывался. — Смотри, смотри, на ручье наледи! Тонкие, будто козырьки над водой.

Мы сошли в темный овраг. Свет солнца отражают лишь сосны да березы, все другие деревья впитывают его мокрыми стволами. Вода здесь ушла под снег, расплылась зеленоватыми пятнами: ручеек обманулся, не туда побежал.

— У тебя под глазами синий свет, — сказал Лёня.

И тут счастье, как подснежная вода, начало заливать и нас, и всю землю вокруг. Оно булькало, струилось, играло легкими еловыми шишками и сухими веточками от зимних буреломов; несло их на себе, вертело в разные стороны, сшибало, одевало в воздушные пузыри, а потом выкидывало на подтаявший снег — все это было так, как будто совершалось во мне самой. Я была одновременно и человеком, и снегом, и апрелем. Только человеком все-таки лучше!

3

Думаю, что начало любви — когда хочешь что-то отдать другому человеку, чем-то с ним поделиться. Начинаешь воспринимать мир как бы пополам, хотя тот, другой, в это время от тебя очень далеко. Но ты-то сама ешь, пьешь, ходишь по улицам, даже дышишь как бы для него тоже...

Странно смещается интерес к прошлой жизни. О человеке, внутренне мне безразличном, я хочу знать возможно полнее, чтобы взвешивать его поступки и правильно судить о них. У того же, кто пробуждает нежность, интересен только его сегодняшний день, а прошлое лишь постольку, поскольку оно подкрепляет замкнутый круг: он и я. Позади ничего не было, наша жизнь началась с той минуты, как мы встретились.

Но зато теперь я становлюсь зорка и жадна к любой мелочи: отчего вздохнул? Куда оборотился? Почему мимоходом дотронулся вон до той вещи, а потом замолчал?

Мир становится плотным и разнообразно таинственным, словно лес!

— Моя мать, — сказал Лёня, — говорит, что любовь появляется лишь со временем. Люди живут рядом и как-то вживаются друг в друга. А герой Ремарка вообще встречает на улице женщину: ей негде ночевать, она замерзла. От жалости, от одиночества он берет ее в свою постель — и вот понемногу рождается любовь. Из неприкаянности, из сострадания друг к другу. Может быть, в атомный век все и должно начинаться с прозы? — Лёня смотрел в сторону, голос его звучал вопрошающе. Так как я молчала, он добавил: — А чтоб с первого взгляда — это ведь бывает редко, никто даже не поверит.

— Любовь, наверно, и есть редко, — пробормотала я, чувствуя, как в носу от обиды защекотали слезы.

Тогда он схватил меня в охапку, затормозил, засмеялся.

— Будем несовершенными, птица! Начнем все с самого начала. Представь, что перед нами необитаемый остров. Ты не побоишься?

— О нет, — от всего сердца ответила я. — Пойдем скорее на него, на твой необитаемый остров!

Мы проговорили тогда до двух часов ночи. И не знаю: было ли нам все понятно друг в друге или, наоборот, ничего не понятно? Легко или стесненно мы разговаривали?

— Я ничего не знаю о будущем, — сказала я. — Словно глаза завязаны, а ноги все равно идут.

— Хочешь, я понесу тебя? — совсем тихо сказал Лёня, наклонившись ко мне.

Пошел снег, такой густой, прямой и плотный, словно это был дождь. И как от падения дождя, стояло вокруг шуршанье. Последний снег в этом году!

А когда я увидела Лёню первый раз, зима стояла еще вполковне.

Я возвращалась от тетки в электричке. Солнце, пронзительно ясное с утра, по мере приближения к городу все больше уходило в туман, слойлось, меркло. Вагон был битком набит шумными усталыми лыжниками. Мне казалось, что я очень выделяюсь среди них: на мне не было спортивного свитера, а на коленях стояла деревенская кошелка с гостинцами. Я старалась не вслушиваться в то, что

они говорят между собой. Вспомнила, как полчаса назад вышла за теткин калитку, прикрыв ее потихоньку, чтоб не сбросить с частокола сахарные столбики снега, и на дороге встретила соседскую девчонку Люську. Иду ей навстречу, говорю: «Здравствуй». Она не отвечает, проходит мимо, отворотившись. «Да ты что, — спрашиваю, — оглохла или язык сжевала?» Это ей показалось смешным, она прыснула и выплюнула что-то. «Ах ты... — выругалась. — Я же от самого колодца держу во рту молчанную воду! Если б не ты, у меня любое желание исполнилось бы».

Вот и я тоже как будто молчанную воду держала всю дорогу. Только желаний у меня сначала не было, потому что Лёню я увидела не сразу. Он сидел от меня через три скамейки, наискосок. «Какой, наверно, славный парень, — подумала я. — Едем в одном вагоне, а никогда друг про друга не узнаем».

Мне стало так, будто держала в руках какую-то драгоценную вещь, и вдруг ладони разжались, и она упала глубоко-глубоко на самое дно океана, только круги по воде пошли...

Я рассматривала его лицо — умное, мужское, с высокими скулами и худыми щеками. Губы улыбались, в широких бровях играло ироническое оживление. Одной рукой он держал лыжи, прислонив их к плечу. А на другом плече дремала его спутница — я ее сначала и не заметила, — в модной вязаной шапочке и пушистой куртке. Лицо у нее было хорошенькое, сознающее свою власть. Он молча берег ее сон.

Вагон пригородного поезда почти не качало. Он летел, посвистывая...

«...Никогда ничего не узнаем. Вот ведь как!»

И в эту самую минуту Лёня посмотрел на меня.

Мы сидели так далеко, что даже мысли о неловкости не возникло. Мы просто смотрели, и нам уже приходилось напрягать зрение, чтобы видеть друг друга, потому что в вагоне быстро темнело.

Мелькали названия станций, кто-то двигался к выходу. Вязаная Шапочка лежала на Лёнином плече, а он будто



и не сознавал этого. Какая-то сила, подобная земному притяжению, держала нас обоих в своей власти. Это он мне сказал потом.

Я же тогда боялась только одного: подойдем к конечной остановке и это будет как катастрофа! Если бы впереди лежали целые материи...

Я видела, как Вязаная Шапочка открыла глаза и что-то сказала. Ведь для нее не изменилось ничего. А для меня и Лёни изменилось все. Но я тогда этого еще не знала.

Нас выносило в разные двери, и, как пловец поперек волн, я беспомощно оглядывалась...

Уже на перроне через головы я увидела, что он сунул лыжи спутнице. Он не подумал ни о какой правдоподобной лжи, просто бросился вдоль платформы.

Толпа была густа и плотна. Казалось, мы оба утонем в ней.

— Где вы живете? — закричал он издали, скидывая руки от плеча, чтобы пробиться.

В гоме и суете я прокричала над чужими головами. Только почему-то название не улицы, а станции метро, от которой начинался весь наш микрорайон — отдельный город, где попеременно стояли новые и старые дома.

Не знаю, понял ли он? Услышал? Его отнесло прочь. Вязаная Шапочка сердито и озабоченно дергала его за рукав:

— Какое свинство! Бросил меня с лыжами...

Ясный, требовательный звук ее голоса вернул его на минуту к действительности. Он понял, что совершил измену, первую в своей жизни. Это не потрясло его, но он задумался. Он взял лыжи, привычно оградил локтями Вязаную Шапочку от толкотни. Она демонстративно полукругом, но сбоку зорко наблюдала за ним.

— О чем ты думаешь? — внезапно спросила она.

Лёня ответил правдиво.

— О нас.

Она успокоилась. Наверно, она не умела долго тревожиться, это ее утомляло, вызывало смутное чувство неуверенности. А она хотела в любую минуту ощущать свое

своим. Проведя руку сквозь его локоть, она слегка притянула его к себе. Он привычно отозвался, но тотчас его охватило смущение. Они шли всю дорогу молча.

Ни в этот и ни на следующий день, а только через месяц, когда я вышла из метро и села в автобус, я увидела, как Лёня — которого я даже не сразу узнала, потому что уже начинались весенние оттепели и он был одет совсем по-другому, — бросился мне вдогонку, махая руками. По крайней мере полквартиры он гнался за автобусом.

Я ждала его на следующей остановке. Это было довольно голое место: на пустыре должны были разбить когда-нибудь сквер, а двенадцатизатяжная башня новостройки еще не заселялась.

Когда Лёня подбежал, лицо его блестело от пота и он не мог выговорить ни слова. Он обхватил меня обеими руками с таким облегчением, что даже зажмурился.

Вдруг сразу, в единый миг, мы ощутили один другого так, словно были высечены из одного куска и только сейчас об этом узнали.

Мы продолжали стоять одни посреди тротуара.

Наконец Лёня решился слегка разжать руки и отступил на полшага. Он рассматривал меня открытым смеющимся взглядом.

— Как тебя зовут?

— Ах, да!..

Плотно прорвалась. Кто ты? Чем занимаешься? Сколько тебе лет? Как твоя фамилия?

Это не имело никакого значения еще полминуты назад, а сейчас мы стали безумно любопытны. Мы шли вдоль чужой улицы, сцепившись пальцами. *

— Мой отец живописец. Не знаю, можно ли сказать про него — художник... Он пишет рекламы, но у него много картин. Я работаю в больнице медсестрой. Совсем недавно сдала экзамен и еще никак не привыкну втыкать шприц...

— А моя мать читает лекции в институте. Дед был даже академиком. Мы долго жили на его пенсию, пока мама училась. Она поздно кончала аспирантуру, когда уже был я. Ах, ты ведь не знаешь... Я просватан чуть не с первого

класса. Мы знакомы домами. Представляешь, какой поднимется скандал! Тебе лучше недельки две не появляться у нас. Все равно мы уедем. Оказывается, это к лучшему, что я в прошлом году не попал в институт. Ты не думай, я кое-что умею. Ну скажи, может, мне уже сегодня поговорить с твоим отцом? Чего же нам ждать? Или ты не веришь?..

— Верю! Верю!

— А откуда ты ехала тогда? У меня, между прочим, разряд по лыжам. Ты совсем не ходишь? Я тебя научу. Имей в виду: сначала мы поедem в Карпаты, для меня это очень важно. А потом куда хочешь. Согласен хоть на двенадцать месяцев зимы в году. Все равно весна бывает так часто, как мы сами того захотим!

4

Утро Первого мая в Ужгороде было чистым и прохладным. Вовсю цвели красные японские вишни, а дворники сметали с тротуаров лепестки уже опадающего нашего обыкновенного среднерусского вишеня.

Нарядные женщины в красных плащах и красных мажарских сапожках спешили к набережной, где возле обкома, на площади, покрытой зеленым прямоугольным газоном, должно было начаться празднество.

Заиграли трубы, и маленький парад звонко забил подошвами по асфальту. Этот почти музыкальный, мерный, согласный звук, похожий на плеск затяжного дождя, заглушив собою оркестр, на несколько минут заполнил площадь.

Так мы с вокзала попали в праздник.

Кричали «ура» и веселились вместе со всеми. Особенно когда под голубыми флагами проехал грузовик с накрытым столом: кубки, кубки, регалии спортивных побед. Да здравствуют победы! Шахматисты сидели за огромными фигурами ферзей и пешек. велосипедисты ехали на машинах, разукрашенных подобно ярмарочным лошадам. А вокруг множество цветов, шаров, гирлянд, плакатов... Так много,

что маленькая девочка, которая неведомо как очутилась на Лёнькиных руках, утомившись, спросила:

— Он долго еще будет идти — парад?

Мы отдали девочку ее родным, а сами, не удержавшись, сошли с тротуара и пристраили к колонне. Дзин-дзюк, дзин-дзюк... — звонко застучали и наши башмаки по асфальту.

Ночевали мы у официантки «Варенечной», где нам удалось пообедать. Муж ее куда-то уехал ненадолго, она переночевала на ночь в кухне, а нам уступила комнату, всю заставленную ушастыми фикусами, с полированным шкафом, кроватью и кушеткой.

Прошедший день сверкал, как залпы цветных ракет. Чтобы избавиться от наваждения, надо плотнее зажмурить глаза и представить шершавый плотный лист ватманской бумаги. Но разве белый цвет не собирает в себе весь спектр? «Белый цвет правдив, но не прост. Наша забота докопаться до его сердцевины», — говорил папа.

И вот, повторяя бессмысленную фразу, которая первой буквой каждого слова помогла мне когда-то запомнить чередование цветов радуги — «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», — я с новым рвением принялась разбирать эти цвета один за другим, словно нитки мулине. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Разбирала и укладывала стопочкой: они еще пригодятся!

— Ты спишь? — шепотом спросил Лёня.

— Сплю, сплю, — торопливо ответила я, потому что не хотела прерывать работу.

...Красный — цвет тревоги. Оранжевый — злодейства. А он ведь так близок к желтому солнечному цвету! В зеленом — равновесие и полнота жизни. Когда очень устаешь, просто невозможно без травы и веток. Недаром папа говорил, что в древних языках не было названия зеленого цвета: он не бросался в глаза, его не замечали, но, подобно воздуху, он был необходим. Синий — если чист и ни с чем не смешан — вырывает из груди неизменный вздох восторга. Его дело уводить нас в мечты как угодно далеко. Хотя бы уже за пределы тех синих вершин, где нечем дышать.

Нельзя дышать,
Но можно жить! —

сказал поэт.

А поэтам я всегда верила больше, чем учителям в школе. Хотя это, ей-богу, несправедливо. Учителя желали мне добра, поэты же совсем не заботятся об этом.

И вот, если закинуть голову, то посреди облачных полей в весенний день обязательно отыщется хоть одно-единственное синее окошко. Синее-синее. Синее до умопомрачения, синее до слез, до внезапного желания запеть. Так ты и будешь стоять, уронив праздные руки, задрав голову — подбородок к небесам! — а вокруг все завертится, поплывет, закружится, и ты тоже поплывешь по синим волнам под парусом, хотя не двинешься при этом с места. Вот что делает с людьми синий цвет!

«Обращайся с ним осторожно, — говорил папа, когда учил меня рисовать. — Не доверяйся ему, но и не запачкай невзначай. Оберегай его».

Я забыла сказать, что в волшебной фразе об охотнике, непременно желающем знать, где сидит фазан, перед синим цветом идет еще голубой. Его не надо даже объяснять. Он — голубой. Зло к нему не пристанет. Ему, разумеется, недостаёт твердости: ведь он так легковверен! И никогда ни на кого не поднимал оружия. Но зато в нем можно полоскать чистое белье; по нему пускают бумажные кораблики, в него окунают незабудки. И всем нравятся голубые глаза — даже если у ваших любимых серые или карие!

Фиолетовый цвет тяжёл. Он не хуже других, просто мускулистее, в нем переход от созерцания к действию. Ему суждено служить водоразделом, впадать в красный, как реке в океан. Он ведет к красному, толкает к нему. Фиолетовый цвет умный — он знает свою цель и неуклонно подводит мир к кипенью. Когда он сбрасывает с себя остатки синего, все преобразуется вокруг! Какие праздники, какие войны, какие горячие слова сотрясают воздух. Угнетенные поднимают знамена. Кровь, питающая все живое, благотворно разливается по жилам. Зреют красные

плоды. Звери открывают пасти и режут от избытка сил. Шумный, великий, устрашающий цвет!

...Почему оранжевый показался мне цветом злодейства? Что-то в нем есть раздражающее, обманное: апельсиновые корки на снегу, удар под ложечку. Он тшится связать несвязуемое: красное и золотое. Каждый из этих цветов существует сам по себе, они автономны. Красный плод и желтое солнце — их незачем сталкивать друг с другом.

Желтый — редкий цвет в природе. Но он единственный виден в тумане. На него можно идти, как на путеводный знак. Желтый — цвет будущего: в нем скрыты какие-то еще не ведомые нам силы. Он пробуждает сомнение: золото или нет? Желтый проверяет и взвешивает, отмеряет справедливость. Он неподкупен: его мера — солнечный свет.

«Наш мир все дальше уходит от природы, и, чтобы вспомнить потери, по ночам мы зажигаем желтые электрические лампочки», — грустно сказал однажды папа.

А Лёнке и электричество кажется уже непроходимой стариной.

— Лазер — вот это вещь! — говорит он.

Какими же станут лучи лазеров, когда они вылупятся, подобно маленьким василискам, из скорлупы лабораторий? Лазоревыми, зелеными, рубиново-алыми? А вдруг и этот луч будет желтым, пронзительно желтым, пробивающим, подобно пуле, космическую пыль и межзвездные облака? Он пройдет далеко-далеко; его увидят выпуклые сферические глаза ин-планетян; он станет азбукой Морзе для людей коммунизма...

...А когда поднимается нива, разве она не желтого цвета? И моя прапрапрабабка, маленькая северянка, сидя на прибрежном камне Унд-озера, надевала берестяной венец, конечно же, на белокурые волосы. Косы ее были заплетены туго, она вязала желтые венки и пускала их по воде...

«Макро- и микромиры сходятся в одном: в солнечном луче», — строго сказал кто-то, проходя по моему сну, но не задерживаясь в нем.

Конечно, я уже вступила в новое сновидение! Сны бывают черно-белые, как в кинохронике. Но мой сон оказался

богаче: я сидела над белой бумагой и строила дом из разных красок.

А потом Лёнька нагнулся над моим плечом, и мы стали строить вместе.

У нас еще очень маленький дом. Собственно, это всего лишь груда балок, камней, пиленых досок, пахнущих лесной травой, и струганых косяков, излучающих свет, как слитки платины. В стороне сложены нетающие ледяшки оконных стекол. Однако окон пока нет. Нет даже оконных проемов, потому что не сложены стены. Но мы уже мешаем раствор: песок и известь на самой лучшей воде. Камни, которые должны лечь фундаментом, мы собирали впрок, каждый по отдельности, словно всегда знали, что встретимся и сложим рядом.

...Когда мы познакомились — там, на пустыре, у автобусной остановки, — мы говорили о всякой всячине. Но это было очень недолго. На третий день мы поглядели друг на друга и сказали почти одновременно:

— Ну, когда же мы начнем строить наш дом?

— Завтра, — ответила я.

— Сейчас, — возразил Лёнька.

И вышло по его.

5

Буркут — поток. Просто поток. А мы думали, что это название реки, такой быстрой и такой шумной, что у нас под окнами будто непрерывный гул ливня.

В морском прибое есть чередование: волна подойдет и отхлынет. Буркут же вырвался с гор, как мальчишка на школьную перемену, задержаться на минуту ему уже жаль: так и дует до Тиссы на одном дыхании.

И как же он клокочет полуметровыми водопадами, какая у него шипучая пена и вкусная прозрачная вода! Начинается он ключами, минеральными источниками. Ближе начинается, в Карпатах.

А Карпаты — вокруг. Серьезные, мрачные, солидные мужики!

Мы с Лёнькой всю жизнь жили на равнине. А потом так долго ехали по степям, где только редкие круглобокие холмы, похожие на ленивых домашних волов, что вообще как-то перестало вериться в существование Карпат. Хотя и повторяли заунывно: «В горы, в горы...»

И вот собрались за полчаса.

С утра в Ужгороде лил дождь. Вечером мы были званы в гости к художнику, папиному товарищу, которому позвонили по телефону. Где-то про запас маячил таинственный профессор Марантиди, знаток источников. (Лёнька отыскал его имя в справочнике, а я наткнулась на заметку в местной газете. «Пойдем к нему?» — предложил Лёнька. «Как, к незнакомому?» — «Ты рассуждаешь сейчас, как мама: прилично, неприлично... У него фамилия, как у героев Конан-Дойля, а мы чужестранцы. По дороге что-нибудь придумаем».)

Но мы не пошли ни к художнику, ни к профессору, а вместо этого вдруг покидали в рюкзак пару джемперов, зубные щетки, мыльницу и за двадцать минут до отхода автобуса полетели через весь город на автобусную станцию.

Путешествие к горам началось.

За девять часов перед нами прошло все Закарпатье. Виноградники, грабовые леса, развалины замков — до сих пор воинственные и впечатляющие, — целая выставка униатских церквей, католических костелов, играющих радугой витражей, и совсем простеньких православных деревянных церквушек с флюгерами вместо крестов.

— Как ты здорово в этих стилях разбираешься, — с уважением сказал Лёнька. — А по мне, архитектура могла начаться прямо с крупноблочного строительства. Витражи-миражи, муть какая-то! В глаза их не видел.

— Вот и неправда! — возразила я. — Ты сам живешь в старинном доме, и на вашей парадной лестнице цветные стекла.

— Жил, — мрачно поправил Лёнька.

И у него и у меня одновременно засосало неприятное воспоминание. Но мы постарались заглушить его и при-



нялись старательно смотреть на крестьянские домики, расписанные по фасаду, как пасхальные яйца цветами и травами. А где-то за древним городом Хустом стали попадаться и гуцульские хаты с окошками-зернышками под низко надвинутыми островерхими крышами из черной гонты. Эти, отвергая всякую пестроту, уже просто крашены густейшей синькой.

Мы считались в автобусе транзитными пассажирами: у нас были постоянные места, шофер знал нас в лицо. Раз два мы раскладывали на коленях припасы, солидно закусывали. На остановках разминали ноги, покупали у лоточниц пирожки. Даже поочередно задремывали, неизменно предупреждая бодрствующего:

— Появятся «мифы» — разбуди.

«Мифами» назывались Карпаты, в реальность которых мы все равно не верили.

Показалась Тисса, и до самых сумерек ехали пообочь с ней.

Мы устали, нас растрясло, и сквозь дремоту бормотали странные фразы, от которых давились бессмысленным хохотом.

— Прочь с дороги, куриные ноги! — провозглашала я.

— Компрачикосы догоняют автобус! — немедленно парировал Лёнка.

А автобус догоняли сначала дождь, а потом тьма.

Попутчики уверяли, что мы едем наконец-то между горами, но этого не было видно. Чернота, которая стояла отвесно возле окон, могла быть и каменной кручей, и просто тьмой.

Нас высадили посреди города Рахова под проливным дождем. Дома тускло освещались фонарями, под ногами скользила мостовая; и кроме нескольких торопящихся пьянчуг да влюбленной пары под одним зонтом, нам никто не попался.

Но зато утром, едва вышли из дверей турбазы, как оказалось, что мы проспали ночь в долине-чашечке, вокруг которой кольцом стояли горы! И были они так темны, и так сини, и так высоки, и такой холодный ясный воздух

ринулся в наши легкие, и так шумел поток Буркут, что мы переглянулись, взяли за руки, разом позабыв обо всем плохом, что случалось с нами в прежней жизни.

А плохое у нас было вот что.

— Простите, — сказала Лёнина мать. Взгляд ее прошел мимо меня и уперся в стену. — Мне необходимо переговорить об этой странной новости с сыном без свидетелей.

Она вышла из комнаты. Лёня, слегка дернув плечами, последовал за ней и уже на пороге улыбнулся мне одними губами: «Ну, ну, птица!»

Дубовая дверь с темной бронзовой ручкой прикрылась неплотно: сама собой отошла на два пальца. Временами стали слышны голоса. Что объяснял ей Лёня, я не поняла, слишком билось сердце и в ушах стоял гул. Но когда заговорила его мать, я уже успокоилась.

— Ты слишком мало знаешь о ней, чтобы принимать серьезные решения. — Голос тек сухо и скучно, будто она читала доклад. — У этой девицы может оказаться слабое здоровье и плохая наследственность. Или дурной характер.

— Риску.

— Наконец, вам будет трудно вместе. Особенно когда вы оба повзрослеете. Она... девушка не нашего круга!

— Ах так? — зло бросил Лёня. — Как мой отец?

— Ты не смеешь! — закричала мать. — И не рассчитывай, что вы получите хоть ложку или плошку из моего дома...

Они вернулись быстрее, чем я успела подняться со стула и поскорее отсюда уйти.

— Мама! — сказал Лёня очень вежливым голосом; даже я не уловила в нем волнения. — Здесь есть что-нибудь мое?

— Конечно, — ответила она спокойно и удивленно. — Одежда. Книги. Все, что на письменном столе, и сам стол: он завещан тебе дедом. Биноколь твоего отца. Фотоаппарат и магнитофон, которые я тебе подарила.

— Спасибо. Стол и книги пусть пока останутся здесь,

если ты не возражаешь. А фотоаппарат, бинокль и магнитофон я возьму с собой.

Он не спеша уложил их в длинный клетчатый чемодан на «молниях», помог мне надеть пальто, оделся сам и только тогда обернулся к матери:

— До свиданья, мама. Буду звонить. Обо мне не беспокойся.

— Да, звони, пожалуйста.

Я тоже пролепетала:

— До свиданья.

И мы ушли.

Улица так сильно шумела, что целый квартал мы прошли молча. Лёня крепко держал меня за локоть. В другой руке он нес чемодан.

— Ну что ж, — сказал он. — Пойдем теперь к твоему отцу. Будем послушными детьми до конца.

В нашем дворе он закинул голову, рассматривая ряды окон — друг над дружкой, как стаканы в посудной лавке.

— Не старайся разглядеть, — сказала я. — Мы живем в цокольном этаже.

— Это выше или ниже первого? — простодушно спросил он.

Я пожала плечами:

— Увидишь.

В нашу комнату можно вступить прямо с тротуара: приподнять ногу на двадцать сантиметров и поставить на подоконник. «Ближе к почве», — любил шутить папа. У нас не водятся дубовых дверей и при них бронзовых ручек. Зато когда под руками не было картона, папа брался за стены, и на штукатурке возникали смешные домики с косыми окнами, а над ними летели сиреневые птицы, напигигованные черточками и квадратами.

Или прихожу из школы, а на полу до самых дверей расстелен длинный лист с угловатым рисунком большеглазых человечков в шапках, усыпанных снежинками, круглыми, как шары.

«Пейзаж должен быть ясен, чист и жизнерадостен», —

говорил папа, трудясь над плакатом для новогоднего утренника.

Я росла счастливой девочкой: узнавала о праздниках раньше всех других!

И вот в эту комнату я привела теперь Лёню.

Мы стояли, незаметно держась за руки, посреди клубов табачного дыма и красок, красок, линий, масла, акварелей, серебряной фольги, из которой вырезана вытянутая вверх фигура с ладонью на груди — жестом яростным и высокомерным, как у какого-нибудь византийского святого или фашистского фанатика. Над притолокой висела картонная маска мопса и выкованный папой ключ («От царствия небесного!»).

Кажется, сначала он не понял, кого и зачем я привела. Он привык показывать свои картины незнакомым людям и без лишних слов стал вытаскивать их из-за шкафа одну за другой.

Лёня молча смотрел, как вокруг возникали, нагромождались, отталкивали друг друга папины холсты и картоны. Лёнино лицо, перечерченное бровями, становилось все внимательнее.

Позднее солнце этого длинного дня неожиданно погладило контуры двух фигур: Синей Бороды и одной из его жен. Зеленая кожа и пурпур одежд; руки обреченные и беспомощные... Я не люблю эту картину, хотя папа сделал Синей Бороде страдальческий взгляд и говорил, что здесь изображена трагедия обманутого доверия. Я поскорее заслонила Синюю Бороду желто-голубым пейзажем города — может быть, даже неземного! — с белой линией гор и черным диском чужого солнца над крышами. Все это не то в весне, не то в снегу — потому что мы ведь не знаем, какой снег на чужих планетах.

Папа, худой, с острыми локтями и коленями, острым, плохо побритым подбородком, беспокойно и ревниво переводил взгляд с картин на Лёню и с Лёни опять на картины.

— Теперь к искусству люди ваших лет подходят только с точки зрения формы, — сказал он вызывающе. — Если не

поражает новизной, то и не ново. А поражает ли вас вообще что-нибудь?

Лёнька поднял на него глаза.

— Меня поразила молекула белка, если на нее смотреть в электронный микроскоп, — сказал он. — Знаете, она очень похожа на абстрактную конструкцию. Нагромождение завитушек, зигзагов, какой-то нелепый отросток... А ведь это самая реальная основа нашей жизни! Ее графика. Вот я и думаю: если творчество началось с примитивных наскальных фресок, которые передавали зримый мир, то ведь и сегодняшнее искусство правомерно спуститься в глубь, пусть других, но тоже реально существующих образов. Где-то здесь и лежит стыковка искусства и науки.

— А они непременно должны стыковаться?

Папа спросил иронически, но я видела, что он озадачен.

Лёня слегка пожал плечами. Удивительно, как это у него получилось скромно и необидно.

— Когда хотят понять мир, то, по-моему, всегда сталкиваются, с каких бы сторон ни шли.

— Дело художника создавать драгоценности! — воскликнул папа запальчиво. — Путь правды в искусстве — это путь воображения. А ваша наука не больше чем бухгалтерский учет. Впрочем, возможно, я говорю с сыном современного жреца-кибернетика? Разумеется, вам тогда трудно постигнуть иной ход мышления...

— Мой отец не кибернетик, — тихо сказал Лёня. — Он был пограничник и погиб на заставе.

Я об этом узнала впервые и сначала покраснела за папину неловкость, а потом сердце сжалось от жалости к Лёньке.

— Но война кончилась так давно, — пробормотал папа. — Вам же еще нет, наверно, и двадцати...

— Мне исполнится восемнадцать через две недели, как и вашей дочери, — сказал Лёня. — Тогда мы сможем пожениться. — Он немного помолчал. — А на границе стреляют и в мирное время.

И тут мой дорогой папа сделал вот что. Он отодвинул большое полотно, на котором изобразил Древний Египет —

прямоугольные фигуры в сером на темной охре, взыскующие глаза, кирпично-красные диски, опахала, похожие на иероглифы, — и на его место поставил женский портрет со сложенными на коленях добрыми руками. Виднелся кусок старенькой тахты, зелень выцветших обоев, распахнутая дверь, за которой играло солнце. А на полу, у ног женщины, жбан с желтым цветком.

— Это ее мать, — сказал он просто.

7

— Я не буду спрашивать, давно ли вы познакомились и как собираетесь жить, — говорил папа за чаем. — Разумеется, мы можем потесниться: в этой комнате вам, Лёня, тоже хватит места. Не хочу пенять за то, что вы ещё слишком оба молоды для брака. В конце концов, у каждого возраста своя правота. Но кое о чем я все-таки должен с вами поговорить. Наливай, дочь, своему жениху чаю. Вы не против этого слова, надеюсь? Не надо стыдиться старых слов. Тем более, что я хочу произнести сейчас одно самое старое слово...

Папа волновался. Он придвинул надтреснутую именинную чашку, поднес ее к губам и, не сделав ни глотка, снова поставил на блюдце.

— Вы любите мою дочь, Лёня? — спросил он торжественно. — Обещаете хранить ее и защищать, как подобает мужчине?

Все во мне сжалось и замерло. Что, если Лёне этот вопрос покажется смешным или обидным? Ведь теперь так говорить не принято, а герои Ремарка вообще начинают с конца...

Но Лёня ответил спокойно:

— Обещаю. Люблю.

Воздух, пропитанный табачным дымом, показался мне хоть и сладким, но густым, как деготь. Я привстала, чтоб убежать и немного отдышаться.

— Дочь, не вертись! — прикрикнул отец. И продолжал, прочно настроившись на высокий лад: — Вы оба вступаете



в ту область человеческих чувств, где бродят только впотмах. Вас ждут и радости и разочарования. Будьте же готовы встретить их достойно.

— Папочка! — поспешно воскликнула я. — Если я сейчас не пойду на кухню, чайник распаяется, а соседи лопнут от злости.

— Ну какая из тебя жена! — вдогонку мне с сожалением прокричал отец. — И разве оба вы понимаете, что значит само слово «любить»?! Любить — это научить, понять, спасти...

Я уже говорила, что у тетки все ее антенные усики были направлены на меня. С тех пор как мы остались вдвоем с отцом, она требовала, чтобы я приезжала к ней каждую неделю в свой выходной. Читала мне наставления и выспрашивала, с кем я познакомилась в эти дни. Про Лёню она знала мало — я ведь и сама ничего не знала про него. Но, наверно, красные и черные червячки на атласных картах били тревогу, потому что тетка без предупреждения вдруг собралась и приехала в город. И именно тогда, когда нужно.

Едва она вошла — круглая, низкорослая, безбровая, — как тотчас хозяйственно щелкнула выключателем, потому что за окнами уже стала собираться тяжелая вода сумерек. Потом пронзила нас рентгеновским взглядом, на лету схватывая, словно полководец, расстановку сил.

Я испугалась, что сейчас начнется повторение сцены у Лёнькиной матери, — и куда нам тогда уходить с его клетчатым чемоданом плюс моя кошелка и рюкзак? Но тетка неожиданно повела себя так, как будто давным-давно знакома с Лёней и заранее одобряет все его поступки.

— Ну и что ж, что молоды, — как будто даже заспорила она с отцом, хотя тот и слова ей не возразил. — Жизнь и надо начинать смолоду, дружно, пока сил много. А профессия — дело наживное. И вещички тоже.

Она горячо одобрила наш план уехать в Карпаты, чтобы именно там встретить совершеннолетие. Не стала выспрашивать даже: почему именно Карпаты? Так хотел Лёня, а он мужчина и отвечает за свои решения.

Потом бросила вскользь:

— Деньгами поможем. И я, и отец.

Однако и не возражала, когда покрасневший Лёня пробормотал о намерении продать магнитофон и этим покрыть расходы. По-моему, тетка все время взвешивала на точнейших электронных весах самые мимолетные Лёнькины даjections. На меня она почти не обращала внимания. Я была та страна, которую она взялась добровольно охранять, и служила своей присяге верой и правдой.

Мы пили чай бесконечно, до одурения. Сначала пустой, с ломкими хрустящими хлебцами, тридцать копеек за пачку, потом с теткинским малиновым вареньем и жирным домашним творогом. От варенья все распарились; теткин и Лёнино лица одинаково были похожи на тлеющую грудуглей с розовым, угасающим пламенем.

Тетка ловко и быстро соорудила три постели: нам с ней на тахте, отцу на раскладушке, а Лёне прямо на полу, на пахучем широком бараньем полушубке. Накрылся он своим же пальто и проспал всю ночь тихо, блаженно, не ворочаясь.

Когда гор много, они безымянны.

А мы всё добивались у местных жителей: как называется эта вершина? А та? Они вовсе не казались нам одиоликими. Одна — в густом хвойном мху, как в меховой шубе навыворот. Соседняя — в травяном бархатном камзоле с каменными проплешинами, а редкие деревья на ней — застёжки. Третья совсем близко, в двух шагах, — оттуда и бежит Буркут, — и она выставила строй сосен-лучников, острых, тонкотелых: сквозь ветви светится небо.

Дни зарядили дождливые; ленивый туман перепоясывал горы, тучи волокнами ползли по хребту. Но дождь не злой, от него не хочется прятаться. В тучах часто проглядывало солнышко — неяркое, карпатское. И вновь горы синем-сини, а Тисса желта, стремительна, посмотрел — голова закружилась.

Хорошая река, воинственная, нездешняя.

Еще в Ужгороде, на вокзале, мы купили сборник гуцульских песен, а из примечания узнали, что составитель живет в Рахове. Вот мы и пошли искать его по городу.

Спросили у дежурной в турбазе. Она сказала:

— Улица Сорок лет Октября. А дом — не знаю.

Отправились на улицу Сорок лет Октября.

— Пипаш? — переспросил продавец в лавочке, где, как и повсюду в Закарпатье, главным предметом торговли являлись бутылки с виноградным вином «Биле». — Шофер на автобазе?

— Нет, — скромно ответили мы. — Литератор.

Продавец стоял в расшитой гуцульской рубашке. Говорят, знатоки угадывают по подбору цветов, из какого села вышивальщицы. Но мы глазели, не расчлняя еще красоту на географию.

— Иван! — кричал кому-то из дверей лавочник. — А где живет Пипаш?

Плотный однорукый Иван охотно перешел дорогу.

— Вам нужен не Пипаш, а Янеш, — авторитетно заявил он. — Есть у нас такой «дипломат»! Это он. И живет на Харьковской улице.

Чувствуя, что активность прохожих растет, мы поблагодарили, но твердо вернулись к первоначальной версии: нам нужен Пипаш. И никто другой.

Тогда женщина, уже с полчаса безмятежно созерцавшая нас в окно и слышавшая всё от первого слова до последнего, вывела нас из затруднения, сказав, что если, не переходя улицу, отсчитывать дом за домом от лавки (и она добросовестно начала: «Первы, вторы, третей...»), то десятый дом и будет Пипаша.

Мы поблагодарили, отсчитали и действительно нашли этот дом. Только сам литератор Пипаш уже неделю как был в отъезде.

Надо сказать, что поиски Пипаша принесли нам сразу множество знакомств. Например, в течение дня однорукый Иван попадался раз пять. Однажды с ним оказался гражданин, которого мы видели в парикмахерской утром. Тот,

как выяснилось, не только знал Пипаша, но и работал с его женой в одной школе.

Мы стремительно обрастали знакомыми. Уже и шофер такси был с нами запанибрата, повозив по серпантину ближайшей горы и попоив водой минерального источника. От него мы узнали, например, что название «Рахов» происходит от слова «раховать» — делить добычу. Некогда в этой долине будто бы жили молодцы-разбойники и после славных дел на перевале неизменно возвращались в свое становище. Народная легенда, жадная до чудес, наделила их традиционным благородством: грабили богатых, оделяли бедных.

Почему-то даже сейчас, когда современный чистенький Рахов лежал перед нами как на ладони, мирно подымливая своей единственной фабричной трубой, было нетрудно представить, как спускались приуставшие разбойнички с гор, вели под уздцы навьюченных горских лошадок, а перед ними приветно катилась извилистая Тисса.

Горы никогда не будут чересчур обжитыми: при самом незначительном усилии воображения по ним легко уйти в сказку...

Я чувствовала, как Лёнька что-то ищет в этих горах. Он стал похож на молодого пса, которому никак не дается след. Испытующий взгляд одинаково пристально останавливался на лицах и на скатах крыш.

Я ни о чем не спрашивала.

Тетка перед отъездом улучила минутку, чтобы дать мне наставления:

— Останетесь вдвоем, не мельтеши, не гордись. Гордость женщины не в том, чтоб зря выставять свое «я». Умей довериться парню. Женитьба всегда лотерея: какой билет вытянешь, только потом узнаешь. Но до последней минуты думай, что счастливый. Иногда и судьбу можно переупрямить. А недоверием человека обидишь большее всего. Чужое сердце только на доверие открывается. И не спеши выпрашивать. Правда выливается в словах сама, как ключ из земли, добровольно. Если он соврет тебе раз, чтобы отвязаться, значит, соврет снова, — и уже обним вам из этой лжи

не выпутаться. Мужики нетерпеливы, у них взгляд скользкий, ни на чем не останавливается. Бабе приходится быть умной и цепляться в жизни за двоих. А бабий ум — ласка да доброта. Это потяжелее физики с математикой.

— Судьба получается не у каждого, как не у каждого есть характер. И судьба совсем не значит удачливую жизнь, — говорил на прощанье отец.

Для себя самой я, может, и не вспомнила бы сейчас их слов, не задумалась над ними. Но Лёнька взял меня в товарищи, я хотела ему помочь. Смотрела украдкой на сведенные брови, на сжатые губы, и в голове у меня будто мельница завертелась.

Он так безбоязненно ушел из своего дома, словно почувствовал себя птенцом из чужого гнезда. Почему?

...Автобус, который привез нас в Ясеня, маленький и горбатый, как верблюжонок. Сначала он трясся по городскому булыжнику Рахова, миновал на окраине картонную фабрику, которая, по словам путевода, «прекрасно вписывалась в ландшафт», а на самом деле была задымлена, черна и лучше всего было бы проскочить мимо нее зажмурившись, и, наконец, пошел над Тиссой, которая все сужалась и сужалась, на глазах превратившись в Черную, ибо, как и великий Нил, маленькая Тисса состоит из двух рек: Белой и Черной.

Мы долго были в затруднении: как склонять название «Ясеня» (ударение на последнем слоге)? Сначала решили, что это множественное число: Ясень — Ясеня. Но когда пытались говорить на свой лад: «Вы из Ясней?» — нас неизменно поправляли: «Из Ясеня». Видимо, слово «Ясеня» вовсе не означает многих ясней, а что-то вроде ласкового обращения к этому дереву, старинная грамматическая форма: ясеня — как теля, дитя...

Удивительно, до чего Лёньке все вокруг было интересно! Он расспрашивал и веселился, повторяя на разные лады: «Ясеня, Ясеня...»

— Я ведь здесь уже был раньше, — мимоходом уронил он. — Мать везла меня маленького через перевал. А мы

с тобой двигаемся в обратном порядке. Она тогда насовсем уезжала с заставы.

— А отец?

Он помрачнел:

— Отец остался.

— Ты его помнишь?

Лёнька покачал головой:

— У меня то время как сквозь мутное стекло: горы вижу, тропинки, рубахи гуцульские, а его лица — нет...

— У тебя разве не было фотографий?

Лёнька промолчал.

В Ясенях из-за зеленого склона, по которому, как по необозримой пустыне, карабкались вверх маленькие фигурки людей, высунулась сахарная голова вершины. Это и оказалась двухкилометровая, малоотличимая от облака Говерла, именем которой названы все рестораны Верховины.

Здесь было суровее и скуднее, чем в Рахове: совсем уже недалеко перевал.

Девятого мая, в середине дня, по тихому Ясеню прошел духовой оркестр; музыка пела старинные советские песни: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...»

Отмечался День Победы, и я подумала, что нам с Лёнькой, как и школьникам, которые тащили под мышкой портфели — прямо после уроков, — одинаково давними кажутся уже и этот марш, и песня «Вставай, страна огромная...». Школяры шагали нестройно, рослые, с нестриженными затылками, в разноцветных рубахах, юношески нескладные, но готовые, как и мы, к своей собственной судьбе.

Наверно, судьба не в том, что предлагают нам другие или чем стараются прельстить. Судьбы разные, потому что люди различны. А если люди похожи, то на каком-то перекрестке они обязательно встретятся и судьбы их сольются.

Лесокомбинат, колонной человек в сто, тоже прошествовал мимо окна под духовую музыку, неся впереди тяжелое, очень яркое бархатное знамя. Гуцулы-лесорубы в шляпах с фазаными перышками шагали веселее и свободнее, чем школьники, — походкой взрослых людей, которые отлично знают почем фунт лиха.

А позади последнего ряда, отступив еще шагов на пять, но не порывая с колонной, хромал инвалид; наверно, служащий конторы, погрузившийся от сидячей жизни, в отличном кофейного цвета костюме, с лицом сосредоточенным и истовым. Каким бы он ни был в своей обычной жизни, смиренным или ловчилой, человеком общительным или угрюмым, — сегодня был его день.

Плохое и хорошее, нажитое им в последующие годы, спадало шелухой. Он шел, опираясь на палку. Один. Но может быть, и его ряд не был пуст?

— Неизвестно, кого он видит сейчас бок о бок с собою, — сказал в эту минуту Лёня. — А если даже и никого, то мы их видим!

Я молчала, сдерживая сердцебиение. От этого безмолвного невидимого ряда, по которому медно плакали трубы, день Девятого мая, уже ничего не говорящий школьникам, кроме даты в учебнике, вдруг загремел во мне своими последними выстрелами: беспорядочными, бесшабашными, не по цели, а просто вверх, похожими на счастливые слезы...

Война кончилась. Это случилось двадцать четыре года назад, еще до нашего рождения. Но никогда невозможно перестать радоваться тем, кто остался жив.

9

— Скажи, ты часто думаешь о своем будущем? — спросил Лёнька.

Я честно постаралась припомнить.

— Не знаю. Наверно, никогда. Оно ведь так далеко! Когда я просыпаюсь, мне кажется, что дню не будет конца. И потом, у меня всегда так много забот. Особенно когда еще болела мама...

Лёнька задумался.

— А я думал постоянно. Наверно, потому что жил скучно. То есть, наоборот, очень часто ходил в кино, на стадион. Не могу сказать, чтоб меня это не интересовало: у нас была веселая компания. Но вот мы с тобой уехали, и я даже ни разу не вспомнил ни о ком. Может, я просто

черствый человек, эгоист? Меня это часто мучает.

— Почему же ты эгоист? — сказала я. — Разве ты жил в ущерб кому-нибудь?

— Но и ни для кого!

Я было застеснялась, но удержаться все-таки не смогла:

— А для меня?

Он глубоко вздохнул.

— Ты — это совсем другое. Ты для меня как обвал в горах. Честное слово! Хочешь верь, хочешь не верь: я о любви даже не подумал. Просто захотелось что-то сразу сделать, все как-то изменить в своей жизни. И первое — найти тебя. Если б нас познакомили на вечеринке, может, ничего и не было: ну еще одна девчонка! Но ты стала моей целью. Моей единственной целью.

— Как же единственной, — возразила я, — а учиться, а работать? Я вот хотела быть врачом. Если не удастся, то и медсестрой хорошо. Опытные медсестры иногда лучше врачей разбираются. У нас в больнице есть Лариса Сергеевна. Профессор ее всегда просит пойти в ту палату, где самые тяжелые больные. Главврач сердится: «Вы, говорит, весь график мне ломаете. Сестры закреплены по отделениям. Не могу я вашу Ларису перебрасывать с места на место, как «скорую помощь»!» А профессор сразу бородку к потолку и зальется смехом: «Очень верно сказано — «скорая помощь»! Однако вы остроумец. Приятно работать с интеллектуальным человеком». И все, тема закрыта. Ну, а Лариса Сергеевна обменяется с кем-нибудь дежурством, и главврач ей слова не скажет, будто не видит.

— Ты удивительный человек! — воскликнул Лёнька. — У тебя мир так плотно населен. А у нас дом холодный и пустой. Когда был жив дедушка, он говорил: «С тобой, Лёничка, хоть живым духом в стенах повеяло. Только как бы и на тебя Снежная королева не дохнула. Вырастешь — и уезжай отсюда. В пустыню, на моря. Самому надо узнать, крыта земля потолком или нет».

— А что твоя мать?

Я отвела глаза в сторону. Ведь она все-таки была его матерью!

— Сердилась. Говорила, что ни к чему сбивать меня с толку беспочвенными фантазиями. Только в девятнадцатом столетии ученые пешком ходили по пустыням, а в век реактивных самолетов все выглядит иначе. Надо окончить университет, поступить в аспирантуру... Дедушка махал рукой. «Дураки бывают летние и зимние; летнего сразу видно, а зимний под ста одежками хоронится. Так и диплом иногда одежка для дурака. И напрасно ты ополчаешься против фантазии, Верочка! — говорил он. — Мечта вытекает из характера. Именно в фантазиях открывается человек: что для него возможно и на что он замахивается. Да и ты, моя чересчур умная дочь, не была лишена фантазии!» — «Я за это поплатилась», — отвечает мать и делает глазами знак, что при мне говорить нельзя. «Э-э, ты поступала, как любая нормальная женщина, когда ей двадцать лет и она любит».

— Это про твоего отца? — Я умираю от любопытства.

— Наверно. Но дальше они не говорили.

— Может быть, твоя мать была несчастна, — принужденно сказала я, всячески стараясь подавить в себе то ощущение холода, которое оставил ее мимоходный, так старательно избегавший меня взгляд.

Лёня пожал плечами.

— По-твоему, счастье — главное в жизни? А если человек несчастлив, разве это одно уже оправдывает его во всем?

Лёнин голос прозвучал так похоже на материнский, что на мгновение мне стало не по себе. Он угадал мое смущение и усмехнулся:

— Не бойся. Я удался в отца. Вот только бы мне узнать, какой он был!

После нескольких секунд молчания он добавил:

— Я, например, не ищу счастья. Мне нужно дело. Сознание, что я по-настоящему полезен, сделало бы меня счастливым.

— Почему же ты не захотел учиться в институте?

Теперь я уже действительно ничего не понимала!

— Переходить из младшей группы в старшую, как в детском саду? Мать твердит, что я должен продолжить

ее работу, как она продолжает дедушкину. А я никому ничего не должен! Она все время оглядывается назад и каждый мой шаг примеряет к своему прошлому. Но ведь прошлое — прошло! Если оно им так нравится, почему они не захотели в нем остаться и пришли в наше время?

— А чем же отличается наше время от ихнего?

Я думала уже о себе, о папе, о тетке: неужели мы в самом деле должны быть так непохожи друг на друга?!

Лёня отмахнулся:

— В вашем подвальнойчике заповедник: все добрые и никому не надо лишнего. Я говорю не про исключения, а про большинство. Половина людей до сих пор считает, что земной шар велик. А другая половина видит, что он уже мал. Для одних лучше ездить на поезде, чем летать на «ТУ», а я не дожусь, когда пустят ракеты на Марс!

— И ты бы полетел?

Он остановился. Брови медленно раздвигались, будто две мохнатые гусеницы расползаются.

— Только с тобой.

— Ну так вот. Мне Земля больше нравится. Я остаюсь.

— Чего же ты рассердилась?

— Потому что ты все время говоришь неправильно. Я не умею тебе ответить; просто знаю, что неправильно, и все. Ты обиделся на мать, а зачем же всех сюда приплетать? И потом скажи: куда мы едем? Иначе я с места не сдвинусь.

Лёнька посмотрел на меня. Так бывает: человек окунет голову в ведро с водой, а потом поднимет лицо, и оно у него уже совсем другое.

— Мы едем на отцовскую заставу, — сказал он. — Только хочу не просто приехать, а для себя что-то уже о будущем решить. Как будто я еду к нему живому.

— Ну, решай, — позволила я.

А про себя подумала: «Не знаешь ты мою тетку! Очень даже ей лишнего надо. Вот она меня любить — любит, а приду я к ней голодная, всю работу по дому переделаю, она только тогда тарелку на стол поставит. Да сначала все позавчерашнее вытащит. Знает, что я наемся, а потом уже

ничего не хочу, вот остатки и скормит. Да еще заохает: «Пирожок есть, забыла совсем...» Такой уж она человек. Я на нее не обижаюсь. И за тебя горой встала, потому что ты профессорский сынок; думает: если сам не заработаешь, мать даст. Может, эта мысль у нее и не главная была, так, боковая, а все-таки была! Я тетку насквозь вижу. А ты, умный Лёнька, ничего не видишь!»

Как оказалось, и Ясенья мы сделали напрасный крюк: Лёнька что-то напутал в своих воспоминаниях. Снова трамвайский автобус то спускался в ущелье — и небо голубой птицей взмывало вверх над каменным забором, то мы сами возносились высоко, оставляя под ногами сырую теснину, расплескивая по горам тени облаков, солнечные пятна и жидкую небесную синь. От этих качелей меня немного замутило, все вокруг показалось скучным и угрюмым. Деревья здесь еще были голы, кроме сосен в темной бахrome. Поэтому я так обрадовалась, увидав вдали два ярких весенних пятна.

Но это была не зелень.

Это оказались фуражки пограничников.

Мы вышли из автобуса и очутились посреди горной деревушки, мазанки которой карабкались вверх и вниз и не было даже двух домов на одной линии.

Двое пограничников стояли на крыльце сельмага, курили и смотрели на нас. Мы медленно двинулись к ним.

Подходя, я разглядывала обоих: ненамного старше нас с Лёней, только плечи пошире да лица позаторелей. Лиловые гимнастерки — допотопная одежда! — сидели на них ладно, к хорошо почищенным сапогам пристала мелкая каменная пыль. «Значит, шли сверху», — сообразила я.

Один был невысокий, со светлыми бровями и веснушчатой переносицей. Глаза у него такие, словно он все время подсмеивался. И на нас глядел вприщурку. Второй тонкий в талии и прямой, как хлыстик. Вообще подобной красоты у парня я еще не видывала. Лицо смугло-румяное, будто

под кожей горела розовая лампа; брови скинуты двумя ровными бархатными полосками, уголки глаз подняты к вискам. В «Тысяча и одной ночи» таких рисуют на картинках.

Я рассматривала его так долго и откровенно, что Лёня дернул меня за рукав.

Мы подошли вплотную.

— Здравствуйте, — сказали мы.

Они ответили вежливо, с нерусским акцентом: веснушчатый пропел мягко, по-украински, а смуглолицый — гортанно, с клёкотом.

— Здравствуйте.

— Что здесь продается? — спросил Лёня, чтоб разговор не потух.

— Что кому треба, — ответил веснушчатый, сощурился еще значительнее. — Туристы будете?

И вдруг Лёня сказал так откровенно и просто, как он умел один, сразу ломая лед.

— Нет, — сказал он. — Мы не туристы. На вашей заставе служил мой отец. Он здесь погиб. А это моя невеста.

У веснушчатого глаза стали круглыми, как пятаки, губы сами собой разлепились. Смуглолицый улыбнулся застенчиво, его темный тяжелый взгляд стал ласковым и немного грустным.

— Как же твоя фамилия? — спросил наконец веснушчатый.

Лёня назвал.

Они мгновенно переглянулись: фамилия им была, видимо, знакома.

— И документ е? — Удивление еще не улеглось в веснушчатом.

Лёня полез в карман за паспортом. Оба внимательно рассмотрели его и, кажется, приняли какое-то решение. Интересно, что между собой они не сказали ни слова, однако в их движениях и мыслях чувствовалась полная согласованность.

— Почекайте тут со своей дивчиной, — сказал веснушча-

тый. — Мы доложим старшине. А там вас и на квартиру поставим. Вы ведь у нас погостите?

— Погостим, — ответил Лёня.

Оба протянули нам руки, и мы их пожали вперекрест. Веснушчатый подмигнул:

— Веселье будет. Свадьба. — И назвался: — Саша Олэнь. Ударение он сделал на начальной букве.

У смуглолицего пальцы оказались гибкие и сильные, как лапа ягуара. Лёнькину руку он потряс, а мою только скромно подержал в мягкой горячей ладони.

— Хадыр. Мамедалиев.

Потом оба повернулись и скорым шагом стали взбираться по крутой тропинке.

— Ну вот, — юмористически вздохнул Лёня, — теперь мы с тобой люди казенные. Приказано ждать старшину.

Мы сделали двадцать шагов в сторону от дороги, пока не очутились над горным обрывом.

Мир под нашими ногами жил в ветре. Это было его дыхание. Он дышал мощно и громко ноздрями сосновых рощ. Выдыхал облака, и те собирались над горами, а потом, будто на салазках, скатывались в ущелье, оседая холодным туманом. Мир дышал. Он жил в ветре и был прям и трудолюбив, как гуцульский пахарь.

— Посмотри, до чего здорово кругом! — сказал Лёня. — Ведь хорошо, что я тебя привез сюда?

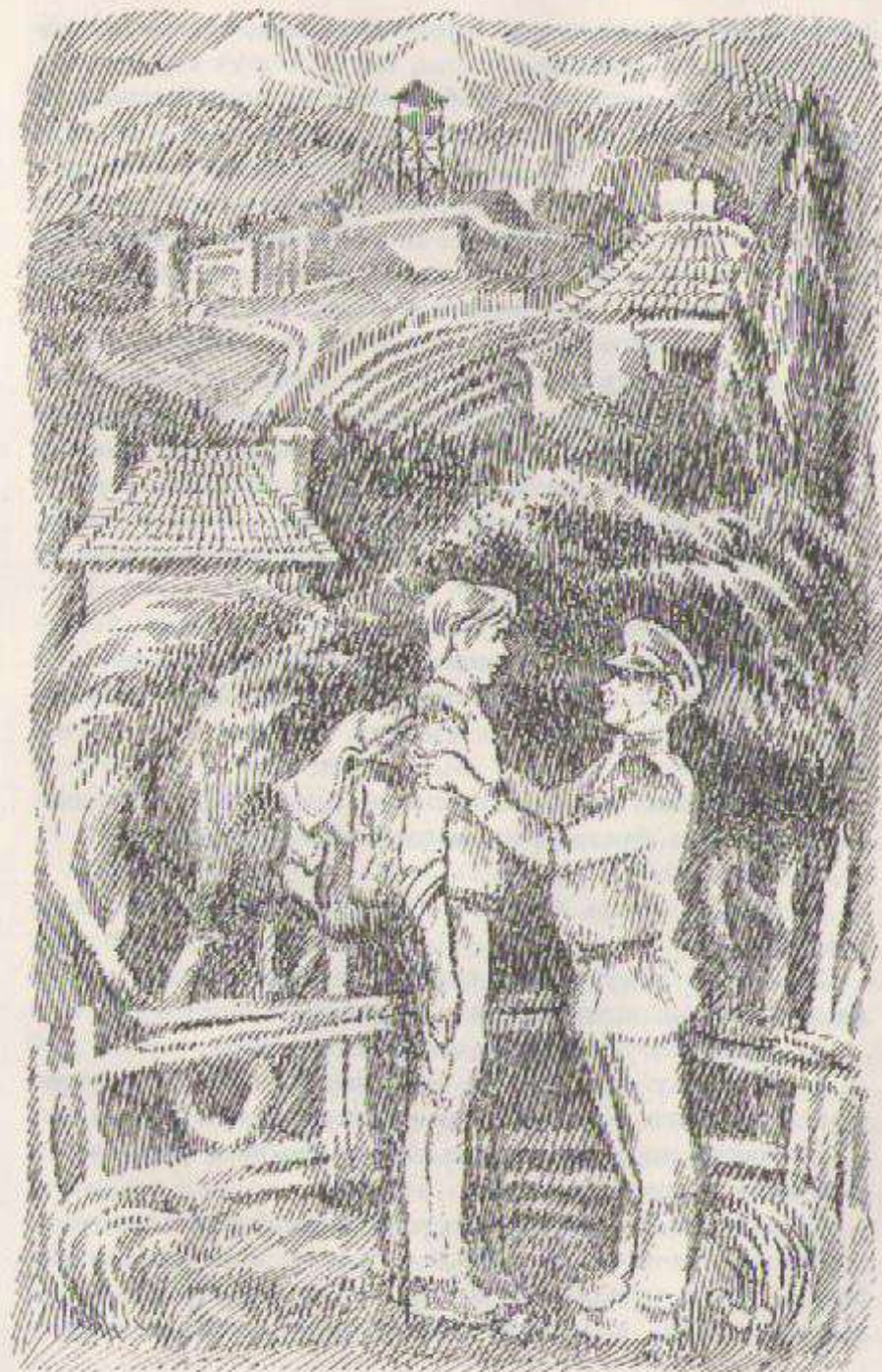
Я кивнула благодарно.

В самом деле, есть ли большая радость для глаз, чем разграничение гор и неба? Неизвестно почему, но эта резкая смена цвета и линий вызывает ощущение спокойствия и гармонии.

Прошло не больше двадцати минут, как по той же тропинке к нам скатился запыхавшийся плотный человек с цепким взглядом рыжих пронзительных глаз. По мне он только мазнул взглядом, а в Лёньку прямо-таки впился.

— Ну, здравствуй, — сказал он, слегка придыхая от волнения, — Леонид Юрьевич! С прибытием в родные места. Давно пора, сын моего командира!

Он сначала троекратно облобызал Лёньку, чинно



прижимаясь к щеке щекой, а потом стиснул, сгреб в охапку и замер так на секунду.

— Не ждал сегодня, — пробормотал он, беспомощно моргая желтыми ресницами. — Каждый день ждал. А сегодня — нет.

Он отодвигал Лёньку, любовался им, снова притягивал, отыскивал ревниво и умело что-то в Лёнькиных чертах, что, наверно, проступало все-таки сквозь пелену лет, потому что взгляд старшины становился все размягченнее.

Лёнька охотно подчинялся его бесцеремонным объятиям. А ведь как он кинул тогда матери от порога: «До свиданья. Буду звонить», — и все, будто отрезал. Он умел быть безжалостным, мой Лёнька. Но, оказывается, мог становиться и покорным: прямо шелковый барашек с детского коврика! «Спокойной ночи, барашек!» — говорила я ему, засыпая, когда была совсем маленькой. И он мне отвечал уже из сна: «Везо!»

Я трянула головой.

Старшина между тем распоряжался нами повсю.

— Помещу я вас у Василины. Обедать пойдете на заставу: старший лейтенант в курсе. Эй, Василе! — зычно позвал у окошка.

Рама скрипнула, и распаренное лицо дородной женщины выглянуло, будто красная луна над лесом.

— Чего тебе?

— Сын капитана приехал. Юрия Ивановича. Возьми на квартиру.

Женщина ахнула, сморщилась, и слезы в три ручья хлынули по не успевшим остыть щекам.

— Биг мий, биг мий!.. — запричитала она.

— Что же ты так хлопца встречаешь? — сказал смутившийся старшина. — Чай, он на родину приехал!

Василина поспешно отерла слезы, виновато улыбнулась и исчезла в оконном проеме.

Спустя минуту между нею и старшиной возникла громкоголосая перебранка. Правда, уже во внутреннем дворе — таком тесном, что и нам четверым, казалось, едва хватало места, а между тем земля там была обильно

посыпана овечьими киззяками, высохшими коровьими лепешками, и густой запах добротного скотного двора витал в воздухе.

Василина требовала, чтоб мы ели и пили только у нее, а старшина тянул к себе на заставу.

Мы покорно ждали, пока решится наша участь, и все-таки пошли на заставу.

11

Застава в горах — мир совершенно отдельный от всего оставшегося внизу человечества. Не только люди чувствуют себя единой семьей, но и дикие звери, гнездящиеся поблизости птицы — все невольно очеловечивается и входит в орбиту особого, почти родственного внимания робинзонов в зеленых фуражках.

Я поняла это довольно скоро и не чувствовала себя чужой. Никто на нас не глазел и не изумлялся нашему присутствию на заставе. На мои вопросы, самые нелепые, пограничники отвечали тактично.

Увидев на дверях спальни надпись: «Тише, твой товарищ спит», я было засмеялась:

— Но ведь уже утро!

— Они вернулись из наряда, — ответили мне.

Саша Олень — это был он — приоткрыл дверь, и из темноты послышалось мерное, согласное дыхание нескольких здоровых носоглоток. А я просто не знала еще, что такое наряд.

У пограничных ребят взгляд прямой и неназойливый. Они тонко подмечают смешные стороны в человеке: его неумелость или напыщенность. Но охотно и дружелюбно отзываются на всякое открытое слово.

Наверно, им было бы интересно порасспросить нас о том огромном мире, от которого они были уже два года оторваны. Но получалось наоборот: расспрашивали мы, а они отвечали.

Начальник заставы, старший лейтенант, не достигший еще тридцати лет, широколобый и поэтому слегка похожий

на насуленного бычка — так он наклонял короткую шею и, казалось, готов был ринуться в бой, — принял нас без излишних церемоний, одновременно по-деловому и запросто. Он был все время занят; помощник его куда-то отлучился с заставы — куда, он нам, конечно, не объяснял, — и вся лавина мелких дел, звонков, распоряжений обрушивалась на него одного. Тем более, что старшину Бруснякова он постарался высвободить на этот день.

Он сразу провел нас в красный уголок — комнату большую и светлую, уже никак не напоминавшую казарму. В каморке начальника заставы стояли довоенного образца табуреты, и стол был застлан сукном, и маленький сейф крашен темно-зеленой казенной краской, а в красном уголке — пластиковые гнутые креслица, и от ветра взлетали к потолку яркие ситцевые шторы.

Старший лейтенант пододвинул к нам альбом с историей заставы и, стоя, заглядывал через плечо. Там были снимки солдат в маскировочных халатах, с собаками и без собак, на лыжах, в летнем обмундировании, общий вид заставы и, наконец, фотография Лёниного отца в траурной рамке.

На этой странице мы остановились и дальше перелистывать не стали.

У Лёниного отца губы были сжаты, щеки худые, брови темные и прямые, но черты таили усмешку. Она пробивалась в выражении глаз: он разглядывал нас, может быть, еще пытливей, чем мы его. Ведь он уже ничего не смог бы изменить, даже если б очень захотел, если б что-то ему активно не понравилось в нас. Так же как и ни одного слова одобрения не могло сорваться с его губ.

Он только смотрел в упор, вложив в силу своего взгляда всю радость и тревогу от запоздалой встречи с сыном.

Я очнулась от Лёниного голоса.

— Здесь написано, — сказал он, — что отец погиб в результате несчастного случая. Разве это была не перестрелка на границе? В него не стреляли?

— Нет, — ответил старший лейтенант. — Лошадь капитана испугалась встречной машины, прыгнула в сторону

и сорвалась с откоса. И скатились-то они всего несколько метров, но ведь горы, камень...

Мне показалось, что Лёнька по-мальчишески уязвлен такими обыденными обстоятельствами. У всех у нас с детства складывается особое, романтическое представление о заставе, где обязательны поимки, погони и разоблачения. И уж, разумеется, пограничные лошади не могут пугаться встречных машин!

— Это ехали туристы, новички в горах, — объяснял старший лейтенант даже с некоторой строгостью, потому что в глубине души он, наверно, обиделся, тоже по-молодому, за заставу и за своего предшественника. — Крутой поворот, включили сразу полный свет, это не по правилам. И сами так перетрусили, что даже из машины не вышли: сидели и сигналили воясю, пока с заставы не прибежали... Так, старшина? — адресовался он к вошедшему Бруснякову.

Тот коротко ответил:

— Так, товарищ старший лейтенант.

Вид у старшины был торжественный.

— Разрешите обратиться? — спросил он по всей форме у начальника заставы.

Тот мгновенно переменял тон беседы на собранный, особый, командирский, когда человек готов выслушать донесение и отдать приказ.

В будничной городской жизни мне не приходилось видеть столь внезапных перемен, и я ждала, несколько оробев, что же будет дальше.

— Разрешите вручить личную вещь капитана его сыну?

— Разрешаю.

Потом я узнала, что после смерти Лёниного отца его вдове, которая уже год жила в Москве, отослали бинокль капитана и спросили, как поступить с одеждой и книгами покойного. Лёнина мать отказалась принять эти вещи. На похороны она тоже не приехала: у нее шел экзамен.

Так в кладовой заставы год за годом лежала на особом месте пограничная фуражка. Все знали, чья она. Приезжали новобранцы и как должное принимали эту тщательно охраняемую от моли и затхлости память об ушедшем командире.

Лёня взял в руки фуражку и держал ее перед собою несколько секунд. Другое время, время его отца, возвращалось к нему через четырнадцать лет.

«Как же долго ты шло, эх!» — подумала я.

Начальник заставы сказал:

— Извините.

И вышел.

Я почему-то тоже не могла смотреть сейчас на Лёню. Двери на заставе не скрипели; он даже не обернулся мне вслед.

Я прошла мимо дневального, спустилась с крыльца и села смирно на лавочку.

Над горами шли тучи, пахло снегом. Я размышляла о том, что Лёнин отец, командир заставы, помногу раз в день видел эти горы, дышал снежным запахом и едва ли задумывался о далеких временах, когда взрослый сын будет держать в руках его фуражку.

У меня сжалось сердце перед будущим: а каким окажется наш собственный сын, когда ему исполнится восемнадцать лет? Станет ли он любить нас с Лёней? И где будем мы сами к тому времени?

Туча закрыла всю гору, словно заслонила будущее. Жизнь течет не прерываясь: в одну секунду я способна вспомнить себя всю. И ту маленькую девочку, которая сидела на корточках перед папиным плакатом, с радостным изумлением следя за тем, как колдовски вспыхивают зеленые буквы, если их обвести красной чертой, будто осветить изнутри фонарем! И совсем уже подростковую, когда я проснулась однажды среди ночи от острого горя: мне снился глубокий снег, на котором я стою босая, а тот, кого я, оказывается, успела полюбить в своем сновидении, уходил от меня прочь. Я видела его узкую, еще мальчишескую спину, такую непреклонную в своей решимости! И как он загребал снег левым башмаком. И весь город, молчаливый, составленный из разноцветных невысоких домов, — как передать словами яркость моих тогдашних чувств и неповторимость потери?!

Я всегда вижу сны. Каждая ночь для меня как новое

путешествие, из которого я возвращаюсь, что-то еще посмотрев про себя...

— Ты знаешь, — смущенно проронил Лёня, трогая меня за плечо, — а ведь она мне впору!

Я не сразу вернулась к действительности.

— Кто «она»?

— Фуражка.

Ах, да! Он по-прежнему держал в руках зеленую отцовскую фуражку.

Лёниного отца живым помнил только старшина Брусняков. Он и повел Лёню в комнату, где сейчас жил старший лейтенант. Мы извинились перед женой начальника заставы, быстроглазой молодой женщиной. Она еле-еле успела перед нашим приходом натянуть новое платье — оно еще топорщилось у нее на бедрах и не все пуговицы были застегнуты — и теперь смотрела на нас с жадным любопытством, несколько даже побледнев от необычности истории, в которую попала краешком.

— Здесь ты, Лёня, родился, — говорил старшина отеческим тоном. — Кровать стояла вот так. Стол был другой, капитан подвигал его к окошку. Три стула... нет, постой, вроде четыре. На один ставили таз и тебя купали. У двери был вбит гвоздь, на него капитан вешал шинель. На этой стене, под простыней, вещи Веры Андрониковны. Здесь — книжная полка. Книги сейчас в заставской библиотечке. Можешь посмотреть потом.

Жена начальника, кажется, была не в восторге от того, что с ее ухоженной беленькой комнаткой обращаются столь бесцеремонно.

Чужие предметы, неслышные, словно призраки, стали возвращаться в эти стены.

— Тетка Василина все помнит, — сказал Брусняков. — Она приходила помогать твоей матери.

— Ко мне она тоже приходит, — рискнула вставить жена начальника, томясь вынужденным неучастием в разговоре.

— Она же и обмывала капитана, — сурово продолжал старшина, нисколько не обратив внимания на жену своего начальника.

Это ее безмерно поразило. Да полно, тот ли это человек, незаменимый помощник во всех делах, с которым у нее были даже крошечные тайны от старшего лейтенанта, тот ли постоянно услужливый старшина Брусняков Павел Никодимыч?! Она вздохнула и отодвинулась в сторону.

— Когда погиб отец? — спросил Лёня, озираясь, будто пытался разглядеть исчезнувшее. — Куда он ехал? Какой он был в этот день?

— Вот в этом-то все и дело, — сказал Брусняков. — Куда он ехал! Он ехал в нижнее селение, там больница на три койки и лежал мальчишка раненый. Здесь, видишь ли, в горах еще много памятков войны: снаряды неразорвавшиеся, патроны... Человек сгнил, а зло от него осталось. Зло живуче. Дня за четыре до того капитан обходил участок, видит — в кустах костер горит, мальчишки сидят кружком, а на огонь мелкокалиберный снаряд прилаживают вместо котелка. Мальцы махонькие, чуть постарше тебя тогдашнего. Капитан сапогом снаряд сшиб с треноги, двух мальчишек под обе руки подхватил, отшвырнул в сторону, а третьего не успел. И снарядишко-то был паршивый, небольшого калибра, но мальчонка совсем рядом оказался... Капитана все мучило, что третьего не уберет. Как минута выберется, ночь, день — все равно седлает коня и без дорог напрямик по кручам пробирается в больницу. А в этот раз, как нарочно, дорогой поскакал — думал, быстрее. И откуда эта саранча — туристы вынырнули! Хоть бы правила вождения зубрили, заразы!..

— Мальчик выжил?

— Мальчик-то выжил. Студентом сейчас в Ужгороде. Там есть станция слежения за искусственными спутниками, так он на ней практикуется. Василину спросите, он ей родня, фото покажет... Капитана вот нету.

— Старшину к начальнику! — раздалось под окном.

Брусняков осекся на полуслове, сделал на месте полный оборот и исчез.

Лёня глубоко вздохнул.

— Извините, — сказал он жене начальника и тоже повернул к двери.

— Приходите чай пить! — крикнула она ему в спину. Так как Лёня молчал, я вежливо ответила:

— Большое спасибо. Непременно.

Жена начальника заставы что-то еще спросила, ей хотелось задержать меня, но я отозвалась скороговоркой и бросилась догонять Лёню. Он уже прошел через калитку низкой ограды и шагнул по лесу, между высокими, теплыми от солнца деревьями. Вместе с новой травой под ногами было много мха и прошлогодних листьев.

Мы шли некоторое время вверх по пологому склону.

— Подожди, — сказал вдруг Лёня и остановился, будто споткнулся. — Это было здесь, пожалуй.

— Что было?

— Птица.

Он сделал два шага в сторону, но не теперешних, размашистых мужских шагов, а каких-то семенящих, мелких. Так, должно быть, ходил маленький мальчик Лёничик, которому обычная трава была выше колен, а мир кончался совсем близко.

— Огромная птица. Никогда больше не видел таких, — бормотал Лёня. — Перья цвета песка... знаешь, бывает он на закате такой розоватый. И только лезвия крыльев ярко-голубые с белой полосочкой. Она пролетела мимо меня, ничуть не испугавшись. Я до сих пор чувствую на лице хлопок быстрого воздуха.

Он машинально провел ладонью от лба к подбородку. Его черты изменились, словно Лёня поднимался с усилием на какой-то холм и смотрел на меня издали.

Я не сразу поняла, что это холм времени. Он перевалил через него и в самом деле смотрел уже из другой жизни. Там летали большие розоватые птицы с синими крыльями и был совсем другой воздух и другие решения для каждого дня. Не мудрено, подумала я, если он примет сейчас решение из той, очень старой жизни. Даже не из своей собственной, потому что он был тогда несмышля, а из

жизни умершего отца, о котором ничего не знал до того дня, а теперь начинает узнавать — и я начинаю узнавать вместе с ним, словно мы листаем старую книгу от конца к началу.

Меня немного знобило от волнения. Но я не боялась. Я хотела всегда стоять возле Лёни, как часовой возле знамени.

Говорят, когда старые люди приезжают в города своей юности, они ничего не могут там узнать. Бродят, как слепцы, по новым улицам и шарят руками случайно уцелевшие приметы. Переменилось все.

А на Лёниной заставе все оставалось прежним, и переменялся лишь он сам.

Но сейчас ему хотелось стряхнуть с себя перемены, возвратиться в прошлое таким, каким он был, когда мать увезла его отсюда. А потом четырнадцать лет молчала и, чтобы Лёня вернее забыл о прежней жизни, старательно напихивала его память, как чемодан, совсем другими впечатлениями. Она хотела вылепить ему новое будущее — будто это коврижка из теста!

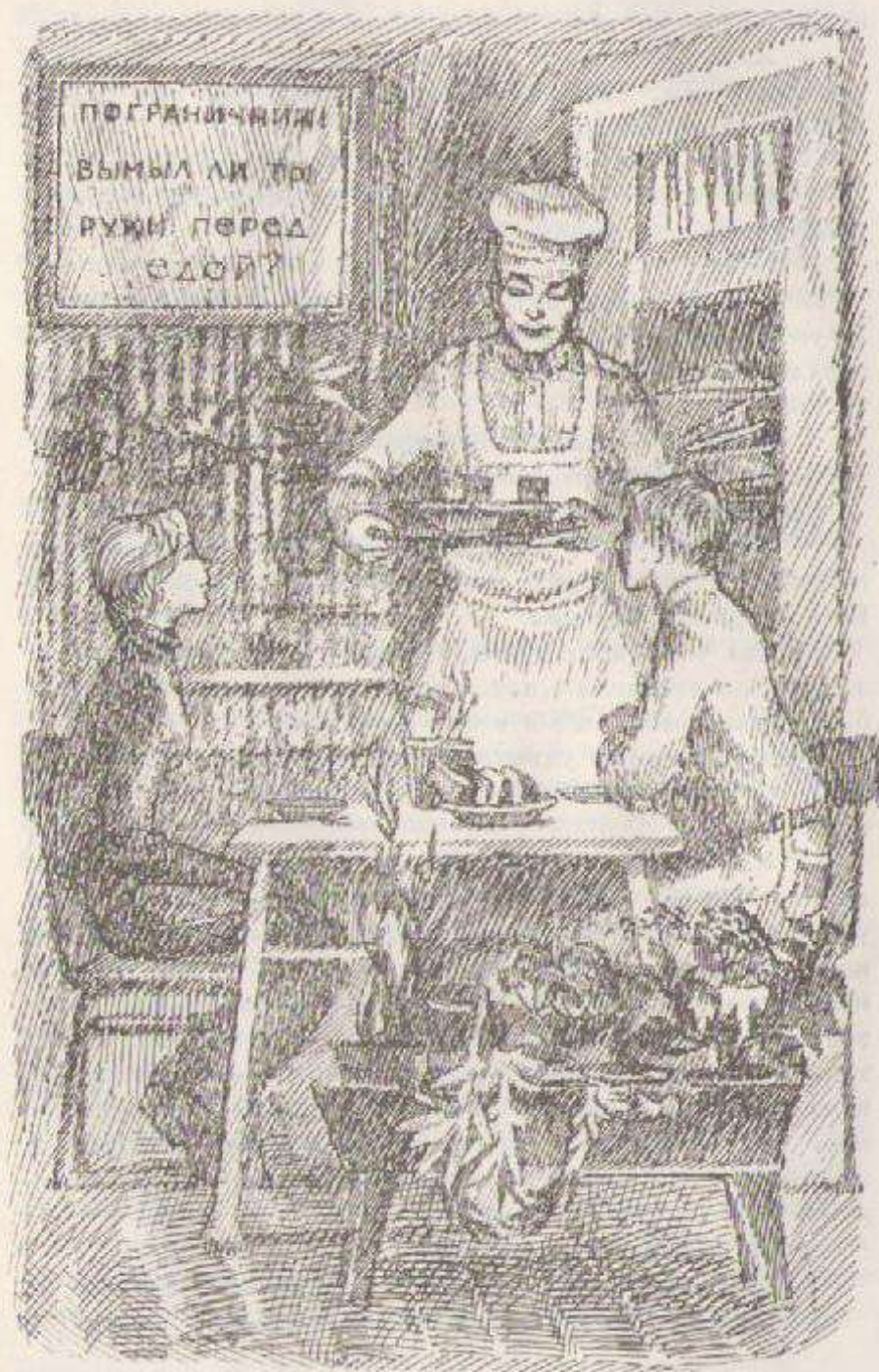
Я начинала понимать, почему Лёня так мало любил свою мать — просто не мог ее любить, — хотя очень долго не подозревал об этом. Возможно, и мать не любила Лёню: ведь рос он и росло воспоминание о ее вине. Поначалу ей казалось, что, наоборот, с годами вина станет сама собою уменьшаться, исчезнет, рассеется, истает без следа. Но выходило иначе, и их недомолвки были полны недобрых предчувствий.

Впрочем, может, я все это нафантазировала. Мне так хотелось подняться вместе с Лёней на его холм!

— Я вижу твою птицу, — сказала я. — У нее и вправду совсем голубые крылья.

Вечером мы пошли ночевать к Василине, а на следующее утро опять были на заставе. Нас повели завтракать. Пограничники едят вразнобой: кто когда свободен от службы. Так и мы оказались одни в маленькой столовой на пять столов. Блюда нам подавал Хадыр. Оказывается, он был на заставе и поваром.

Под белым колпаком его смуглое лицо казалось еще



неулыбчивее, а глаза полны мглы, как на дне ущелья.

— Хадыр, — сказала я, подлизываясь к этому мрачному красавцу, — вы, наверно, учились кулинарии еще дома? У вас так все вкусно!

— Нет, — нехотя отозвался он, — я был наездником.

— Вот это да! — вскричала я. — Как интересно! Участвовали в скачках? Брали призы?

— Брал.

Лёня тоже посмотрел на него с острым любопытством. Я уже заметила, что его по-особому привлекали люди, определившие себя в жизни, крепко державшиеся за что-то свое.

— Любишь лошадей? Вернешься к ним, когда отслужишь? — спросил Лёня, вынимая сигарету.

Глаза Хадыра вспыхнули.

— Никогда! — гортанно выкрикнул он. — Пусть они пропадут! — И тотчас мимоходом добавил: — Здесь не кури. Есть место для курения.

Лёнька послушно сунул сигарету в карман. Правила заставы он исполнял с почти иноческой прилежностью. Это было тоже новое, чего я в нем не знала.

Лёнька безмерно удивился Хадырову ответу.

— Почему же? Если это твоя работа, твое призвание...

— А я знал, какое у меня призвание? — страстно спросил Хадыр. — Я на конюшне вертелся, потому что так уроки легче было пропускать. Я был смелый, ловкий, меня кони принимали. Вот директор конезавода и стал из меня наездника готовить. На байраме в скачках пятое место занял. Все были взрослые джигиты, заслуженные, а мне тринадцать лет. В газете тогда написали: надо готовить из него чемпиона! Я школу совсем забросил. Мать поплакала, но у нее, кроме нас с братом-близнецом, еще шестеро, ей за всеми не доглядеть, а отцу даже нравилось поначалу: детей много, а почет по одному!

Хадыр замолк и задумался.

— Так ведь это не так плохо, — решила я пискнуть я. Он угрюмо усмехнулся. И что это была за усмешка!

Будто в самую темную полночь звезда блеснула, спеша вновь уйти за тучу...

— Я тоже так думал, если баран может думать. Брат-близнец школу кончил, в институт поступил, а у меня и семи классов нет. Всё аллюр отрабатываю, скакунов в шенкеля беру... На одном состязании конь споткнулся. Я вылетел из седла, сошел с дистанции. И вот, пока в больнице лежал, вся моя глупая жизнь, как караван по пустыне, мимо прошла. Главное, я не коня, а славу любил! Этому нет прощенья. В армию взяли нас троих из аула; те недалеко служить остались, а я вон куда попал. А хоть бы и на край света! Мне теперь тысячу километров надо пешком пройти, чтоб себя понять.

Ожесточившийся Хадыр стукнул кулаком по ладони. Мне хотелось его утешить. Ведь он ругал себя прошлого — а того Хадыра и вовсе нет! Был мальчишка самовлюбленный, падкий на лесть. Стал мужчина, у которого жизнь в самом начале.

Лёня, как будто мы думали в одно, спросил в ту самую минуту:

— После армии что думаешь делать?

Белки Хадыровых глаз блеснули вторично.

— Жизнь поправлять. Чего один близнец достиг, того и другой добьется. Пусть почет по двум сыновьям у отца будет!

— Слушай, а он и вправду похож на ягуара, — увлеченно сказала я, когда мы вышли на крыльцо. — Подберет лапы и прыгнет!

— Дурочка, — ответил Лёня. — Он на человека похож. Решил — и сделает.

Конечно, Лёня запомнил из детства очень мало. На заставе он не то чтобы вспоминал, скорее подтверждал в себе самое основное, что таилось в нем до времени. Его ноги вдруг сами собой, с восторгом узнавания, взбирались по крутым тропам на полонину — открытый солнцу и вет-

рам луг, ладонь горы, вскинутую превыше всех деревьев! — а руки ловко, не раясь, цеплялись именно за те кусты, которые для этого пригодны, а не за колючий можжевельник, как я.

То, что он счастлив — счастлив одним присутствием здесь, своей уместностью посреди гор и пограничников, было написано на его лице. Он стал собран и... беззаботен! Не могу объяснить, как это сочеталось, но именно такое было у меня впечатление.

Лёнька казался в эти дни взрослее, но не от забот, как случается обыкновенно с другими людьми, а наоборот — от внутреннего покоя. Он отвечал на вопросы без душевной заминки и сам спрашивал об отце, не стыдясь более ни пробелов детской памяти, ни последующего мрака вокруг полузапретного для него отцовского имени.

Старшина Брусняков приглядывался к Лёньке очень недолго. Все его внимание сосредоточилось на мне.

Он незаметно, но постоянно переводил взгляд с него на меня и что-то, видно, прикидывал в уме, соображал насчет нас обоих.

— Ну что вы все во мне выглядываете? — кинула я ему, когда мы шли к собачьему питомнику и отстали на два шага от Лёни и Сашки Оленя.

— Хочу выяснить, что ты за принцесса, — грубо ответил он. Впрочем, тоже очень тихо, опасливо стрельнув желтыми, рысьими глазами в Лёнькину спину. — Есть Леониду смысл с тобой хороводиться или другую поищем?

— Вы, что ли, искать будете? — дерзко сказала я. — Вы его вчера в первый раз видели, а завтра, может, в последний.

Он даже приостановился от возмущения и ярости.

— С мамашей его спелась? — прошипел, сузив глаза. — Задание получила, так? Привезешь и увезешь? Вдвоем парня будете мордовать всю жизнь?

— Вы ж ему не отец, — неуверенно возразила я, чувствуя уже за этим внезапным напором не злую, а добрую силу его души. И в страхе, не понимая, как же выбраться теперь из случайной путаницы, когда я выгляжу Лёнькиным врагом

и погубителем в глазах Бруснякова, я горестно охнула, и из глаз моих хлынули слезы.

— Ты чего? — растерявшись, спросил он.

— Мать его меня выгнала. Нас обоих... Слова со мной не сказала, а вы...

Он тихонько свистнул. И тотчас рукой с жесткой ладонью цепко ухватил меня за запястье.

— Мы водички напиться, — громко сказал вслед Лёньке.

Тот обернулся на мгновение, не заметил ничего особенного и кивнул, продолжая разговор с Сашей Оленем.

Старшина завел меня за угол.

— А ну рассказывай! — приказал.

Достал из кармана грубый солдатский носовой платок, широкий, как наволочка, и обтер мне мокрые щеки.

— Толково говори, без рева. Чья будешь? Родители живы? Где с Леонидом познакомились?

Я вдруг в самом деле стала очень спокойна и отвечала ему безбоязненно и с облегчением.

— Профессоршей Вера Андрониковна стала... — пробормотал он задумчиво. — Добилась, значит, своего. — Смешанные нотки гордости, недоброжелательства и осуждения прозвучали в его голосе. — Крепкая женщина, ничего не скажешь: судьбу как топором пополам разрубила. Она ведь собралась и Лёньку увезла в одночасье. За себя каждый волен решать. А за сына права не имела! — Отголосок прежней обиды пробился в нем.

— Скажите мне, каким был Лёнин отец? — робко попросила я. — Ну, как человек?

— Зачем тебе?

Он все еще угрюмо вспоминал свое.

— Мне же надо знать, как с Лёнькой жить.

Он вздохнул, отгоняя прошлое.

— Это ты права: он сын капитана, а не ее! Тут профессорша просчиталась. Ну что тебе, пигалица, о капитане в двух словах сказать? Есть люди, на которых только взглянешь и невольно подумаешь про себя: вот для них-то как раз и должно случаться в жизни то, чего не бывает и быть не может!.. Быстрый на решения и крепкий в них

был наш командир. Ненависти в нем никакой: на каждого смотрел зорко, но без нажима, авторитетом не давил... «На заставе у нас положение ровное,— любил повторять,— мы все пограничники». Сложив руки не сидел и другим не давал. Не то чтобы по пустякам гонял туда-сюда, а просто пустяков для него не существовало. Вокруг него так воздух и кипел. Я его без движения только сонного видал да вон мертвым... Радостно служили при нем на заставе, вот что!

— А теперь? — глупо спросила я.

Он ответил уклончиво:

— У каждого человека свой характер, и у командиров заставы тоже. — Потом вздохнул: — В молодости все кажется по-иному. Я из-за капитана и на заставе-то остался: не хотел без него жить. Такого человека встретить — все равно что выигрыш получить.

Мы помолчали.

— Тебе здесь не скучно показалось? Не боязно? — спросил он небрежно.

— Как же может быть скучно, когда Лёнька вон как рад? А бояться чего мне с вами-то со всеми!

Он с сомнением воззрелся на меня желтыми пристальными глазами. Но мне уже не было страшно его ничуть.

— Жена старшего лейтенанта хотела с тобой поговорить. У вас там дела женские... Ты зайди. Раз моей хозяйки на такой случай не оказалось.

Жена начальника заставы сразу взяла быка за рога.

— Саша Олень сказал мне, что вы не расписаны. Это так?

Я ответила, невольно потупившись:

— Так.

— А почему?

— Разве обязательно расписываться?

Она закачала головой и сощурилась:

— Ой, девонька, за модой не гонись! По моде только платья шьют. Я тебе скажу, как мне самой мать говорила, когда я на целину в семнадцать лет укатила: «Хоть всех

парней перецелуй, юбку до пупа обрежь — все не беда. Главное в том, чтоб девушка умела себя уважать». Мать у меня деревенская, вологодская, по-старинному мыслит, а правильно. Собой вертеть не позволяй!

— Да почему вы так о нас думаете? — возмутилась я. — Никто никем не вертит. Просто нам до восемнадцати лет не хватает.

Она вихрем сорвалась с места, даже в ладоши захлопала от удовольствия. Я увидела, что она уж не так намного и старше меня.

— И все? — сказала она. — Честно?

— Честно.

— Так это ерунда. Завтра мы вас поженим! Я своего Николая настропаю. Начальник заставы — знаешь, какая это здесь персона! Завтра пойдем в сельсовет и распишем. Рада?

Она меня расцеловала в обе щеки, тесно прижала к груди, и так мы постояли посреди комнаты.

— Ну, ну, — сказала она. — У нас с тобой дел полно. Белое платье у тебя есть?

— Нету.

— Ох, невеста нынче пошла!.. А кофточка? Юбку мою приладим.

Я растерялась. Кофточки тоже не было. Разве вот серый свитер? Через некоторое время весь диван был завален ворохом платьев, защелкали большие портновские ножницы, и сладко, как стайка маленьких веселых дятлов, застрекотала швейная машинка.

Пока жена начальника заставы вертела меня, подкалывала булавки, сшивала складочки, я стояла в счастливом оцепенении.

— Не жалеешь, что выходишь за пограничника, — тараторила она, обкусывая нитку. — Парни верные, всю жизнь одну любят.

— Разве я выхожу за пограничника? — бессмысленно улыбаясь, спросила я. — Я — за Лёню.

Она уколола палец и выбрала иголку.

— Лёня твой на заставе родился. Он отсюда теперь нипочем не уйдет.

— А мне не говорил.

— Успеется. Скажет.

На прощание она торжественно открыла круглую коробку, пошуршала за моей спиной целлофаном, сказала, вздохнув:

— Бери, раз уж такой случай.

И на голове моей очутилась легкая, чепчиком схваченная у висков пластмассовыми цветочками венчалая вуаль...

Когда мы с Лёней шли вечером к тетке Василине, я молчала, будто набрав в рот воды. Лёня тоже о чем-то размышлял про себя.

— Ты знаешь, что мне сказала мама тогда, за дверью? — наконец проронил он, с видимым интересом разглядывая вершину сосны. Ветер переливался в ней прохладными струями, как живая кровь. Сосна придала ушами-ветками. — Сказала, что мне очень мало надо от жизни. И она просто не понимает, в кого у меня такая пустая душа. «Если пустая, так ее надо наполнять», — ответил я. «Но чем? Ты ведь не захотел учиться. Теперь меняешь Инночку, девушку одаренную и умненькую, на первую встречную. Где логика?»

— Она в самом деле умная? — глубоко уязвленная, прервала я его. — Эта ваша Инна?

Лёня дернул плечами:

— Да ничего подобного. Просто мобильная: на все у нее сразу мнение. Приехал заграничный пианист: «Ах, какое туше, фортиссимо, пьаниссимо...» Сбежала на выставку: «Глубина, цвет!..» Впрочем... — он вздохнул и честно порылся в памяти, — может, это все так и было на самом деле, только меня не больно интересовало.

— Что же интересовало тебя?

— Если б я знал. Наверно, что-то другое. Или то же самое, но не с этой стороны, что ли.

Я засмеялась:

— У нас в квартире есть Женька. Сейчас он уже в школе учится. А когда ему было три года, пойду я с ним гулять, а он посреди улицы руку выдирает и орет: «Шам, шам!»



Все хотел сам. Я на него сердилась тогда, как теперь на тебя твоя мать. А видишь, вспоминаю и смеюсь.

— Кажется, и ты меня воспитывать принялась, — подозрительно пробурчал Лёнька. — Притчами говоришь.

— А ты думал, я уж совсем дура? И поговорить не могу?

— Обиделась из-за Ивки?

— Обиделась.

— Знаешь, за что я тебя люблю, птица? — спросил внезапно Лёня. — Врать ты не умеешь, вот за что.

— Отлично даже умею. А не вру из одной лишь гордости. Ты не знал, что я безумно гордая?

— Не знал.

— Так знай.

— Что-то мы с тобой стали часто цапаться, — с усмешкой проговорил он. — Не сходимся характерами, что ли? Кстати, нас завтра поведут расписываться, знаешь?

— Знаю.

— Ну и как? Согласна?

Я произнесла с вызовом:

— Это ты завтра узнаешь.

Лёнька забеспокоился.

— Не вздумай что-нибудь выкинуть. Если что, так дай лучше мне сейчас по шее. Иначе черт знает что получится: приехали, нашумели, свадьба, тили-тили-тесто — жених и невеста...

— Ага, испугался! Не хочешь перед Брусняковым срамиться?

— Ну, не хочу. Он для меня много значит. Да и начальник заставы, и ребята... сама знаешь.

Я сжалась над моим бедным завтрашним мужем:

— Спи спокойно, дорогой товарищ. Завтра будет полный порядок.

А ночью, когда Лёнька во сне сбросил с себя теплый, как печка, диванчик — гуцульский домотканый шерстяной плед, серый, косматый, с красными полосами, — я все еще бес-

сонно глядела на черную лядину окошка в горнице тетки Василины. Ночной дождь чирикал в кустах и скатывался по листьям, как по желобкам. Неслышно — босиком по половику — пробежала пять шагов, приоткрыла раму и высунулась до пояса.

Хорошо дышать сырым воздухом и мелким дождем: будто пьешь само небо!

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как я увидела в пригородной электричке Лёню, и вот все вокруг меня и во мне переменялось. Старые мечты потускнели, я едва вспоминаю их, будто они скрыты в разноцветном тумане. Зато открылась совсем другая земля, в которую мы пришли с Лёней, вдвоем, словно она до сегодняшнего дня была не заселена и ожидала нас.

Сама себе удивляюсь, до чего я оказалась бесстрашной! Горы кругом, безлюдные, крутые, а я не боюсь! Звери дикие по лесам рыщут — мне хоть бы что! Рядом люди незнакомые: что подумают, что скажут? Я им первая говорю: «Здравствуйте, люди! Я выхожу замуж» — и все мне улыбаются.

А с Лёней мы как два приемника с общей антенной. Вот и сейчас: весна вокруг нас, теплое мохнатое небо и время после полуночи. Мои мысли как бы продолжение Лёниных. Он так напряженно и страстно хотел вникнуть в жизнь своих родителей. Принять ее или отвергнуть — это уже после; сначала — понять. А я уже знаю за него, что нужно быть и взрослее и сильнее, чем мы, чтобы чужая жизнь открылась по-настоящему.

И все-таки мне нужно помочь Лёне, пока он спит.

И я думаю о двух людях: о мужчине, который мертв, и о женщине, которая состарилась. Хорошо, что они не мои родители: собственных родителей нельзя вообразить просто мужчиной и женщиной, всегда и прежде всего они отец с матерью.

Я уже знаю, что любят ни за что. Потом говорят сами себе: он добрый, она красивая... Но любят все равно не за красоту и не за великодушие.

Мне повезло, что Лёня хороший. Но если бы он был

плохой, я все равно его любила. И пристаивала бы, и ругалась, и стеной вставала против него самого, но чувство, что он — это я, а я — в нем, нельзя разрушить ничем. Хотя говорят, что и любовь проходит. Просто так, сама собой. Но сама собой — пожалуйста. А чтоб другие мешали — ни за что!

Почему-то мне кажется, что Лёнькина мать испугалась его отца. Не так испугалась, чтоб убежать, а наоборот — забыла обо всем на свете, кроме него. Влюбилась — как испугалась.

Я очень мало знаю про них обоих. Только со слов старшины. Лёнькин отец служил раньше на Дальнем Востоке на маленьком острове. Он был еще совсем молодым тогда, чуть-чуть постарше Лёньки.

На острове, конечно, скучно; островок такой крошечный, что зимой в долгую полярную ночь эскимосские собаки проскакивали мимо, думали — айсберг.

А нарушитель шел-шел и, наоборот, прямо попал на заставу: думал — никого здесь нет.

Зато весной на островке население резко увеличивалось: прилетали птицы. Не просто птицы, а птички города, птички страны, птички континенты! И котики приплывали, хотя их было поменьше. Котики ревели, птенцы верещали, каркали, голосили вовсю — то-то становилось шумно, весело. Капитан так часто рассказывал об этом Бруснякову, что старшине стало казаться с годами, будто он видел все сам.

Но птицы все-таки не люди. И капитан радовался, если с заставы, с маленького островка, удавалось изредка по делам отлучиться на остров побольше, где можно и на других посмотреть и себя показать.

Одна такая поездка оказалась ужасной.

Он все переделал быстро: до попутного транспорта, которым обещали отвезти его на заставу, оставался целый день. К тому же день был воскресный. Вот он с двумя товарищами и пошел по грибы на сопку, до рассвета. Там водились бурундуки, пограничники их подкармливали. Они шли не спеша, а когда очутились на вершине и захотели оглядеть белющий горизонт, то в первое мгновение ничего

не поняли: снизу раздавались выстрелы. Застава встала в ружье, на это потребовалось не больше минуты. Часовой на берегу все еще продолжал палить: то, что он слышал, было ни с чем не сообразно и смертельно испугало его. Со стороны океана несло странное и зловещее шуршанье. Может быть, часовому подумалось, что к острову в полутьме прокрался десант?

Но затем и он и остальные увидели совсем другое. Океан беззвучно отхлынул от берега, обнажив дно километра на два. По оголившемуся исподу, как в бредовом сневидении, ползали, копошились, мелькали тенями встревоженные морские твари — крабы, моллюски, рыбы, раковины. Сам же океан выгнулся, косо заслонил небо и начал на глазах сворачиваться, загибаться, словно лист бумаги. Еще ничего не понимая, гонимые инстинктом, пограничники кинулись к сопке. Лишь часовой на берегу не успел отбежать далеко — все свершилось в течение считанных минут, — он продолжал стрелять, спасая других. Когда небо и вода как бы поменялись местами, заря вспыхнула ярче. Одиравший океан в полном молчании двинулся на остров...

Странно, что они, как рассказывал потом капитан, не слышали ни плеска, ни гула воды. Может быть, заложило уши? Или шум был настолько ужасающ, что барабанные перепонки отказывались воспринимать его? Те, кто снизу карабкались на сопку, бежали не оглядываясь, а кто стоял уже на вершине вместе с отцом Лёни, оцепенели и будто вросли в скалу.

Чудовищный вал при свете белого утра поднялся, мазнул по острову и отступил обратно, оставляя берег голым, как ладонь. Никакого намека на поселок: ни щепок, ни мертвых тел. Гребень цунами, задев хотя бы краешком, уносил в пучину все.

Взрыв, поднявшийся со дна океана, утихал медленно. Как разогнавшийся маятник, вслед за первой гигантской волной подошла вторая, также втянув в свой зев перед прыжком прибрежную полосу.

Час за часом качание океанской люльки становилось ленивее. День тянулся бесконечно. Тугой ветер, впитавший

в себя острейший запах сдернутых с глубин водорослей, заменял оцепенелым людям нашатырь: он взбадривал их, и они оставались в сознании, пока не подоспела выручка.

Уже в теплых каютах, согретые и укрытые одеялами, некоторые начали бредить, другие по-детски плакали.

На берегу им давали путевки в санатории, других на носилках отнесли прямо в госпиталь.

Но отец Лёни захотел вернуться на границу. Правда, сначала у него был двухмесячный отпуск. Где капитан провел его, старшина Брусняков не знал. Вот единственно, о чем он мог поведать: в последнюю неделю Лёнькин отец встретил в жидкой тени столичного парка очень самоуверенную молодую женщину, которая готовила себя к научной карьере. Вероятно, она отлично управлялась с собственной судьбой до этого дня, и никаких загадок для нее впереди не существовало. О чем заговорил с ней этот не только не лохотун, а скорее мешковатый молодой человек в зеленой фуражке, мне никогда не узнать, потому что постаревшая Вера Андрониковна губ не разожмет, а других свидетелей не было.

Она могла тогда еще беззаботно улыбаться, слушая его, уверенная, что подобная малость — встреча на садовой скамейке — не может иметь для нее серьезного значения. Едва ли он подкупил ее силой характера: характера у нее хватало! Вся ее жизнь строилась на убежденности в собственной правоте и в пользе пути, который она выбрала сначала для себя, а потом и для сына. То, как она поступала, всегда выглядело в высшей степени разумным и целесообразным.

Я не знаю, много или мало целей в жизни должен иметь человек, и вообще — не получается ли так, что с годами он станет рабом собственной цели, цель как бы подменит его самого? А привнесенное извне — не только плохое, но и хорошее — одинаково испугает его несходством с первоначальной целью, которой понемногу приносилось в жертву все...

Или же дело все-таки в том, какая цель? В ее масштабе, в направленности? Дорога может уткнуться в тупик, а может вести, подобно реке, впадая в новые реки — в новые

цели. Река без боли расстается с прежним руслом. Ведь главное в ней — движение и собственная мощь, а не узкое ложе!

Впрочем, я опять фантазирую. Достоверно известно лишь одно: к концу недели Вера Андрониковна согласилась выйти замуж за капитана и уехала с ним на заставу.

И все-таки мне кажется, что она испугалась его! Испугалась, что еще немножко, и от ее вынужденных распрекрасных жизненных целей ничего не останется. Так уж лучше выйти замуж и прекратить этот опасный спор. А цель можно до поры до времени спрятать, укрыть за упрямым лбом, тогда еще молодым, без морщин...

Я уверена, что Вера Андрониковна всегда была тщеславной женщиной. И если б она сумела прижиться на заставе, если б ее там полюбили и она оказалось центральной фигурой, главным авторитетом, если б ею восхищались и ловили каждое ее слово, в общем, если бы она достигла своего постоянного желания — главенствовать и возвышаться над другими, — то и маленький домик посреди леса на склоне горы вполне удовлетворил бы ее.

Но она, видимо, скоро убедилась, что на ее долю отпущена только одна сила — сила ума и логического мышления. Следовательно, чтоб ей занимали, надобно встать за кафедру. Во всех других отношениях она оказалась не лучше, не добрее, не обаятельнее очень многих женщин. Это ее уязвило. Она уехала, чтобы проверить собственные возможности и вернуть себе душевное равновесие.

Хотя ведь в наше время — с дипломом или без него — труднее всего прожить обыкновенную жизнь, день за днем, здесь, на заставе, или на Сургутском нефтепроводе, или на рыболовном сейнере, или еще где-нибудь, потому что пригодность человека доказывается не письменным свидетельством, а всей его жизнью.

На мгновение мне стало стыдно, что я так плохо думаю о Лёнькиной матери. Но тотчас успокоила себя тем, что это не плохо и не хорошо, но вполне правдоподобно.

И мне стало ужасно жалко Лёнину мать.

Полоска зари румянилась выше слоя облаков, который легко, подобно кудрявой отаре, тянулся над хребтом. Небо было ясно, и хорошо видны ближние и дальние вершины, каждая наперечет.

Свистел верховой ветер. Сосны-недоростки, обремененные шишками, как собаки репьями, отмахивались от утреннего холода. Солнце появилось из облачной пены и, сбросив это свое единственное одеяние, нагое, пылающее, предстало перед миром. Тотчас горы омылись светом. Свет стекал по их зазубринам, струился по уступам, и под его очищающим потоком линяли ночные тени. Горы становились спокойнее — кошмары темноты, сны одиночества покидали их.

Мы умывались на заднем дворике из глиняного ручейника, который назывался еще по-старинному водолеем. Это было утро нашей свадьбы, и мы не жалели ни воды, ни зубного порошка, так что под ногами у нас скоро стало бело, как зимой. Василине очень хотелось выговорить нам за расточительство, но она помалкивала.

Дородная тетка Василина оказалась прижимистой хозяйкой, и когда она широко улыбалась, это вовсе не означало широты души. Даже куры у нее ходили с покрашенными хвостами, чтобы — избави боже! — не смешались с соседскими. А ключ от замка на деревянном нужнике висел на особом гвозде притолоки. Муж Василины был колхозным чабаном и уходил на полонину с овечьей отарой от ранней весны до самой поздней осени, когда на жухлых травах нарастал лед. Раз в неделю она собиралась его проведывать, уходила с ночевкой, несла гостинцы и чистое исподнее, а назад ретиво волокла даровое топливо: тугие вязанки хвороста или даже небольшое деревце, вырванное бурей. Как любая горская женщина, она двигалась легко, без одышки, и прогулка по отвесному склону, километр туда и обратно, не затрудняла ее.

Вернувшись, она была полна такой уймой впечатлений, словно побывала на краю света. Она повествовала о раннем цветении трав, цепочках звериного следа, набегавших друг



на дружку, об осыпаях на тропинках и о прогнувшейся кладке через ручей — что, конечно, хозяев теперь нету и никто не сменит подгнившее бревно, потому что председатель колхоза живет в другой деревне, пониже, где земли побольше, а здешние свою землю, бывает, в корзинах на горбу таскают, хотя любой сильный ветер опять пашню до голого камня выскребет.

Тетка Василина была женщина воинственная и жалобница отчаянная. О бригадире своем отзывалась, например, в самых уничижительных тонах:

— Стильки в ем смаку, як у печеному раку.

Но гуцульская речь текла плавно и, независимо от смысла, ласково, так, что мы слушали ее не без удовольствия, словно журчание ручья. Тетка Василина была польщена нашим вниманием.

Вообще к нам она относилась хорошо, как к людям, связанным с заставой, от которой она уже много лет и постоянно имела большую выгоду.

Все жены сменяющихся начальников заставы не могли без нее шагу ступить; первоначально по незнанию местности и обычаев, а потом привыкали к разбитной сметливой бабе, тем более что Василина зорко оберегала свои привилегии и искренне считала, что застава взята ею на откуп.

Правда, к памяти капитана она относилась по-особому. И не только потому, что он спас, рискуя собою, деревенских ребятшек, которые все приходились Василине дальней и ближней родней, как это водится в деревне, а один был даже племянником, но и потому, что, когда Юрий Иванович приехал на заставу, Василине сравнялось немногим более тридцати пяти и она — хоть безмолвно, хоть издали, оставаясь при том честной мужней женой, — любовалась им украдкой. Одно упоминание о Лёнькином отце мгновенно меняло выражение ее лица, вызывая краску удовольствия и смущения. Вспоминала она о нем охотно и раздумчиво, будто песню пела.

— Пройшев мимо, блиснув зубами билимы, як молоко. Говорить, мов, зозуля кукуе, а веселый був, як весняне сонце!

В доме у Василины преобладало в убранстве еще до-

мотканое, самодельное, хотя на почетном месте среди кухонной утвари, между ступок со старинными тяжелыми пестами, соляных малых бочонков, крупяного ларя, секачей для рубки капусты — они и быка свободно могли бы оглоушить! — мельничек и медных черпаков, собиравших по утрам на себе солище, чтоб перекинуть его эстафетой на медные же круглые чаши весов, среди обливных широких блюд, на которых Василина подавала к столу капусту, и скалок с резными ручками, задвинув в дальний угол вдетые одна в другую деревянные миски, отлично дожившие до века атома и электричества со стародавних времен, — тесня весь этот простодушный бабушкин инвентарь, красовалась на видном месте посуда магазинной выделки: пара цветастых чашек Дулевского фарфорового завода, тарелки, стаканы — все одинаковое, знакомое по сервировке любого кафе от Архангельска до Ужгорода.

Так же и на стенах, разбивая пестрый мирок домотканых скатерок, вышитых утиральников, которые обрамляли, как раскинутые пальмовые ветви, оконные проемы, узорчатых покрывцев не только над киотом с плохо различимыми ликами, но и над рамками фотографий, также выцветших от времени, — нарушая эту деревенскую сюиту, висел над Василининой кроватью штампованный трафаретный гобеленчик с мутными серо-зелеными немецкими небесами и конфетными немецкими оленями.

Сама Василина носила по домашности полотняную кофту с щедрой вышивкой по плечам и вокруг шеи, а на праздничный случай берегла силовый кургузый джемперок абрикосового цвета, в котором даже в сумерки пылала, подобно головешке из печи.

Два представления о красоте сталкивались здесь лоб в лоб, и как же бедные лбы трескали!

В утро нашей свадьбы Василина кормила нас сытно и тщательно, словно нам предстояло отправиться невесть в какое дальнее странствие, а не пройти метров триста ближней тропкой до сельсовета.

После размятой вареной фасоли, посыпанной прошлогодним чабрецом, который Василина при нас же растерла

в ладонях, отчего весь день потом в горнице веяло терпким и приятным запахом летнего огорода; после квашеной капусты, одобренной подсолнечным маслом, светившимся наподобие пламенного солнечного луча в особой склянице с выточенной из мягкого дерева пробкой; после запеченной картошки, нарезанной ломтями и залитой взбитыми яйцами; после горшочков с ряженкой, закупоренных жирной коричневой пенкой; после сметаны из погреба, которую надо было есть ложкой, а ложка стояла торчком; после свежего меда в деревянной миске и лепешек овечьего сыра, щипавших язык, Василина нарезала еще тонкие куски вяленой и копченой баранины, уложив их, по-городскому, на ломти пшеничной паланицы, испеченной накануне на кленовом листе, так что нижняя корочка повторяла лапчатый рисунок.

Наверно, само слово «свадьба» имеет до сих пор мистическую власть. Ни одна женщина свыше сорока лет не в силах противопоставить разумное современное понимание семьи и брака тому, дедовскому, языческому, когда в соединенных руках жениха и невесты сочетались как бы сами жизнь и смерть, прошедшее и будущее, благоденствие стада и приручение стихий.

Иначе чем объяснить, что Василина вдруг, засверкав очами, словно все ей сейчас стало грыз-трава, а любые будничные расчеты должны согнуться подобно утреннему туману, рывком вынула из шифоньера белую дубленую безрукавку мехом внутрь и заставила Лёню надеть ее поверх рубашки, как исконный жениховский гуцульский наряд.

И с этой минуты все уже завертелось и покатилося независимо от нас.

Старший лейтенант пришел под руку с женой. Лицо у него было несколько смущенное и потому излишне деловое, а она со своими подведенными веками и нарисованными помадой «цикламен» пухлыми губами достойно сохраняла повадки важной матроны, распорядительницы праздника.

Пока Лёня и старший лейтенант курили под окном, обе

женщины перерядили меня во что-то сборное, белое, причесали и взбили надо лбом волосы, густо напудрили облупившийся от горного солнца нос и водрузили на голову тот самый невестин чепчик, который я уже примеряла, а теперь его еще незаметно пришили к волосам заколками, чтоб не сдул ветер.

Когда я в таком виде появилась на ступеньках, у Лёни глаза округлились, и он собрал все силы, чтоб не лопнуть со смеху. Но и у него вид был не лучше: в джинсах и в гуцульской безрукавке!.. Хадыр попросил разрешения сопровождать нас в сельсовет, потому что никогда не видел русской свадьбы, и теперь он один смотрел на нас с целомудренным восхищением.

Так мы медленно тронулись по дороге, которая опускалась и подымалась, обходя кособогоры и овраги, и пока шли, по всей деревне слышалось хлопанье дверей и дребезжанье оконных стекол, так что под конец нас уже сопровождала довольно внушительная гурьба поезжан.

Видимо, у всех бывает иногда такое ощущение, будто тело движется само собой и все вокруг играет особенными красками, а предметы свободно перемещаются в пространстве.

Не знаю, как Лёня, но я послушно доверилась обстоятельствам. По пути кто-то чужой сунул мне в руки букетик лиловых горных цветов с водянистыми стеблями, и я приняла их. Я слышала шушуканье и сдержанные голоса за спиной: детишки забегали вперед, чтоб поглазеть на нас с Лёней, и со смехом бросали нам под ноги пучки травы и горсти зерна, за что матери яростно вполголоса им выговаривали, так как, оказывается, обсыпание зерном положено уже после регистрации брака, а дети просто не могли дождаться конца столь неторопливого шествия.

Первый раз в жизни я оказалась центром какой-то удивительной мистерии, существовала уже не сама по себе, а приобрела значение для множества людей. И хотя поначалу мне казалось, что во всем этом есть неправдоподобие и даже какая-то дурашливость, шаг за шагом, пока

мы двигались к сельсовету, серьезность и торжественность момента овладели мной.

Я лишь очень жалела, что здесь нет папы с его этюдником — так ярки были женские платки и живописны зеленые горы. Даже его городская дочь вполне прилично вписывалась в церемонию...

В сельсовет, в маленькую каморку к секретарю, мы вошли вчетвером; Хадыр и Василина остались за распахнутыми дверями, а окна тотчас расцвели множеством жадных глаз.

Секретарь сельсовета раскрыла длинную линованную книгу, поставила в боковой графе порядковый номер «двадцать два» и уже приготовилась вписывать наши фамилии, как вдруг, еще раз анимательно рассмотрев паспорта, открыла рот для возражения.

Так как бездумность сновидения все еще не покидала меня, я и это восприняла без тревоги, просто как кадр замедленной съемки: рот секретарши открывался и закрывался, начальник заставы застенчиво краснел и наклонял лобастую, бодающуюся голову, словно готов был немедленно пустить в ход и это средство убеждения. Но жена его смекнула иначе. Покачиваясь на высоких каблуках, она покинула каморку и уже через секунду с бесцеремонностью хорошенькой женщины и первой дамы заставы привела за руку самого председателя сельсовета. Председатель был плотный, черноусый мужчина, от его роста и габаритов свободное пространство в комнате сократилось вдвое, а гудящий голос заполнил помещение целиком, хотя говорил он тихо. Но зато за окнами недовольство ожидающих нарастало со скоростью горного обвала.

И уже не один председатель уговаривал сельскую формалистку, а все население за окнами гудело и ворковало, повторяя ее имя:

— Маричку, Маричку!..

Наконец Маричка согласилась, вписала наши имена, свидетели поставили подписи — и, к моему величайшему изумлению, стены раздвинулись, комната явственно сделалась шире, председатель сельсовета вывел нас обоих вперед,

поднял наши вытянутые соединенные руки, ловко, как фокусник, подхватил кинутое кем-то через дверь расшитое полотенце, положил свою крупную чугунно-загорелую кисть на Лёнину запястье, туда же поместил руки начальника заставы и его жены, а на мою руку не без его же участия легла потная, дрожащая от волнения рука Василины и легкие, как дуновение ветра, пальцы внезапно возникшего Хадыра, который с братской преданностью подпирал меня плечом. И все эти руки — русские, украинские, туркменские — черноусый председатель обвязал вышитым рушником, без тени ухмылки колокольным голосом произнося слова, которые, по-моему, переводились так:

— Пусть эта перевязь соединит вас не на год, не на два, а на целый век! Слава!

Когда мы вышли на крыльцо, от порога тянулся красный домотканый половичок; мы едва вступили на него, а под ноги нам уже кинули второй, потом третий: их тащили из ближних домов и кидали, кидали друг за дружкой на влажную после ночного дождя траву, так что мы шли все время по сухому среди веселья и шума. А какая-то старуха, семена от торопливости, забежала вперед, чтоб с поклоном подать Лёне свежий каравай с деревянной, почерневшей от древности солонкой. Лёне, наверно, надо было тоже поклониться ей, но мы этого не знали. Лёня просто сказал «спасибо». К нашей свадьбе никто заранее не готовился, все возникло само собой, и, может быть, поэтому никто не обращал внимания на огрехи. Одна девушка с хохотом притащила откуда-то с гумна прошлогодний сноп; бог знает, почему он сохранился, — возможно, терпеливо дожидаясь свободного хозяйского часа, чтоб лечь заплаткой на соломенную крышу сарая? Но теперь у него оказалась другая судьба, он превратился в ритуальный свадебный символ, и так как Лёнькины руки были уже заняты, сноп приняла я...

Понемногу гам и суматоха вокруг нас приняли некоторую стройность, девушки затянули песню, и она провожала нас, когда мы покидали деревню и по крутой каменистой дороге поднимались к заставе.

— Вот и хорошо, вот и отлично, — твердила жена начальника. — Я же говорила вам, что Коля все уладит. Нечего было и беспокоиться!

День этот прошел быстро.

До ужина мы сидели на лавочке, и все, кто возвращался из наряда или, наоборот, появлялся из спальни, чтоб умыться, поесть и заступить на службу, подходили к нам и поздравляли, желая счастья.

Старшина Павел Никодимович встретил нас еще у ворот, где стоял часовой под грибом на полосатой ноге, и вручил подарок — часы-будильник. Мы сидели на скамейке, а будильник тикал возле нас громко и настырно, словно хорошо выспавшийся сторожевой пес, у которого отныне одна забота — следить за всеми в оба.

Потом мы узнали, что, пока мы так беспечно проводили время, добрый десяток людей беспокоился и хлопотал.

Во-первых, старший лейтенант: ведь сын погибшего пограничника возвращается на отцовскую заставу, где и думает в дальнейшем проходить службу. Собственно, последнее кто-то прибавил от себя, для убедительности, но после уже так и пошло, и за столом Лёню поздравляли не только с женитьбой, но и с патриотическим решением.

Но это после.

Пока что мы забавлялись с будильником, а старший лейтенант продолжал утрясать наши дела. Лично переговорив с начальником отряда, который желал узнать подробности, старший лейтенант получил у него разрешение подарить молодоженам от имени заставы единственную ценную вещь: большую вазу цветного стекла с алмазными гранями — подношение шефов.

И именно сейчас один из пограничников, спешно и тайно от нас, царапал стеклорезом, слегка касаясь поверхности, чтоб не испортить и не расколоть, бессмертную формулу, подсказанную ему собственным доармейским опытом: «Лёня + Ия = любовь».

Ох это мое разнесчастное имя! С самых ранних лет оно горело на мне, как тавро. Других забывали или путали, а меня запоминали с первого раза и навсегда. Ни одна школьная провинность не оставалась в тайне; меня приплетали даже тогда, когда я не имела к делу ни малейшего отношения, словно учителям доставляло удовольствие лишний раз произнести мое имя! А каких дразнилок ко мне только не липло! Был такой злосчастный месяц, когда, стояло мне высунуть нос во двор, меня встречал оголтелый ослиный рев: «И-я-ааа!»

Даже папа растерялся.

«Ведь Ия — это фиалка, — говорил он. — Прелестное, нежное имя! Они просто не знают».

«Вот ты и объясни мальчишкам!» — всхлипывала я.

Папа нервно походил по комнате, видимо, решил, взял этюдник, раскладной брезентовый стул и молча уселся на солнцепеке посреди двора.

Разумеется, ребятига стала стягиваться вокруг него. Затая дыхание, неслышно переступая босыми ногами, они словно наплывали за папиной спиной, пока тень одной, давно не стриженной головы не упала на картон. Но папа сделал вид, будто ничего не замечает, тем более что тень, судорожно дернувшись, убралась.

Папа рисовал цветок. Это было дивное бледно-лиловое создание с мохнатым листом и прохладными лепестками. Тоненький стебель изгибался, как чья-то живая рука.

Есть художники, которые всю жизнь рисуют только цветы. Целые корзины маков, кувшины лютиков, букетики незабудок и заросли сирени. Но папа рисовал Один цветок. Неповторимый. Он словно выступал из тумана: такой зыбкий серебристый фон у него был. Среди душного раннего вечера на раскаленном городском асфальте этот цветок выглядел чудом, вызывающим к доброте и заботе. Кто-то очень глубоко и горестно вздохнул над папиным ухом. Папа даже не шевельнулся. Лишь окончив работу, он вытер кисть о тряпочку, отодвинул палитру и обвел глазами болельщиков.

«Вам нравится?» — спросил он.

Хор благодарно выдохнул:

«Ага!»

«Вы видели когда-нибудь фиалки?»

Два голоса неуверенно пискнули:

«Видели».

Расхрабренный одиночка добавил:

«Они бывают весной».

Папа удовлетворенно кивнул:

«Именно так. И весна в разных краях начинается в разное время. Однажды, когда у нас еще лежал глубокий снег, я бродил по горам Абхазии, вдоль речки Мачехел-цхали. Узкая дорога вилась вдоль горы над пропастью. Я видел глубоко внизу мутную воду, которая с шумом прыгала по камням. Левый берег лежал в тени, и там все еще было в снегу. А на солнце из расщелин рыжих пятнистых скал сочилась родниковая вода и кое-где тянулись первые голубые фиалки».

Папа внимательно посмотрел на свой рисунок.

Я знаю, как активно детское воображение. Было произнесено всего несколько слов, а мы увидели полную картину: дорогу, горы, крошечные водопадики и первые цветы. Я тоже видела, потому что слушала его, сидя на подоконнике.

«Потом, — продолжал папа, — я возвращался домой и наткнулся на вторую весну, украинскую. А у нас встретил третью, московскую. И как бы часто ни приходила в том году для меня весна, она никак не обходилась без фиалок. Кстати, — он весело обвел всех глазами, — есть много имен по названию цветов. Ну, какие вы знаете?»

«Роза!» — закричал хор.

«А еще?»

«Лилия».

«Правильно. И Нарцисс, и Гиацинт, и Гортензия. А есть еще имя: Фиалка — Ия. Это не на нашем языке. Каждое имя обязательно что-нибудь значит. Галина — тишина, Тамара — пальма, Виктор — победитель. А тебя как зовут?»

«Володька».

«Значит, ты «Владеющий Миром».

Когда я выросла, при знакомстве с чужими парнями вечно старалась переименовывать свое имя: говорила то Лия, то Миля, а один даже раз, рассердившись, — Наташа. Только Лёне не успела ничего сократить. Ему мое имя понравилось; о том, что оно «фиалка», он и не знал, ему показалось, будто в звучании имени есть что-то птичье, поэтому и стал называть меня птицей...

Кстати, когда старший лейтенант увидел выгравированную на вазе залихватскую надпись: «Лёня + Ия = любовь», он пришел в негодование, хотя в глубине души признавал собственную оплошку: надо было придумать заранее что-нибудь подходящее случаю, например: «На долгую память молодоженам от пограничников энской заставы».

Правда, для такой обширной надписи объема вазы явно не хватило бы, поместиться все это могло разве лишь на оконном стекле, но можно, подумав, изобрести и покороче.

Старший лейтенант так замотался с нами, так нанервничался, что ему уже чудилось, будто такой подвох устроен нарочно, тем более что все два года службы солдат-график по своей озорной предприимчивости был сущим наказанием для заставы. А я убеждена, что парень не каверзничал, а старался от души.

Пока начальник заставы готовил официальную часть программы, его жена, Хадыр и пара добровольных помощников мудрили на кухне с вечерним угощением, переименовая обычный рацион.

Солнце уже прилегло щекой на край ближней вершины, когда посторонние хлопоты были прерваны, потому что настал святой для пограничников час сбора.

Сначала мы слышали голос старшего лейтенанта: «Застава, шагом марш!», мерный топот сапог по мягкой земле, потом более крепкий, шелкающий звук на утрамбованной площадке перед крыльцом: строй остановился, старший лейтенант отдал новую команду — и начались следующие пограничные сутки. У границы свой ритм: новый день берет начало не после полуночных ударов кремлевских часов и не на рассвете, а еще с вечера предыдущего дня, когда дается задание ночным нарядам.

Деловитое щелканье затворов то и дело напоминало, что мир еще не так тих и дружелюбен, как нам хочется. А когда большие и малые города нашей страны, ее кишлаки, деревни, железнодорожные станции и зимовки занимают своим обычным делом, обязательно кто-то должен недосыпать, вслушиваться в шорохи, выделяя из них опасные, читать по снегу и на травах звериные и пешеходные следы и быть готовым в любой момент — который уже не оставит времени ни для выбора, ни для размышления! — оказаться тем самым единственным часовым, Вратарем Республики, от сноровки и отваги которого зависит исход первого боя.

Я знаю, что, когда пограничники тотчас после войны вкопали межевые столбы, разграничивая свою землю от сопредельной, зеленые Карпатские горы не были еще безопасны.

Летопись заставы, написанная от руки, сохранила имена погибших и тех, кто уцелел, но давно покинул границу (хотя, наверно, все-таки носит на своей далекой тыловой родине поистрепанную зеленую фуражку — ведь пограничники неохотно с нею расстаются!).

И уже не из летописи, а со слов, устным преданием, которое передается от старослужащих к новобранцам, мы с Лёней узнали, что, кроме этой, боевой, солдатской, была и иная, рабочая страда пограничников. Они пришли на голое или, вернее, дремучее место в горах и день за днем, бдительно неся службу, отрывали время от сна и отдыха, чтобы валить лес, тесать бревна, мешать цементный раствор и из палаток и землянок своего первоначального обиталища выбраться, наконец, в надежно сколоченный дом заставы.

И по мере того как мы все это узнавали, пограничная жизнь казалась нам все более осмысленной и требующей как раз той самой максимальной отдачи физических и душевных сил, о которой, наверно, и мечтал Лёня посреди своей регламентированной домашней жизни.

Где-то я читала, что лягушата, едва вылупившись из головастика, после того как схлынет разлившаяся вода, не всегда успевают уйти вместе с нею, застревают в лесу или

в зарослях на влажном мху и в подсыхающей траве. Может быть, они даже живут не так плохо, ловят длинным языком насекомых, прекрасно ориентируются в сухопутной местности. Но однажды на их пути встречается поток — ручей или лопнувшая водопроводная труба, — и они без малейших колебаний бросаются в него. Потому что лягушата созданы для воды и просто долго жили в вынужденном несходстве с собственной натурой.

В первый вечер, когда мы только что вернулись с заставы, Лёня, словно вдруг что-то вспомнив, оставил меня у Василины, а сам побежал обратно вверх по крутой тропе. Я даже не успела его окликнуть. Лёнька прыгал проворно, как горный козел; я никогда не видела его еще так, со спины: он словно не уходил от меня, а возносился, и подошвы ботинок были виднее, чем макушка.

— Наклон у него батьковский, — проронила Василина, взглянув на порожек. — Плечами не поводит, рукой за куст не цепляется. Слабый всюду опору вокруг себя ищет, а смелый не смотрит по сторонам, своего сам добивается.

Я подумала, что еще не знаю, смелый Лёнька или какой? Больше всего мне хотелось, чтобы он поскорее вернулся. Я упорно смотрела на темнеющую тропку. До тех пор, пока и травы и кусты не слились в один цвет, плотный, как чугун.

Василина зажгла керосиновый фонарь в хлеву, подоила корову, вынесла кружку парного молока. И так сладко, выразительно зевнула, что стало ясно: времени прошло очень много и давным-давно наступила ночь.

Попервоначалу меня точила обида: бросили тут, будто никому не нужна! Но потом стало подниматься тошнотворное ощущение беспокойства, и оно все нарастало, так что где-то близко к полуночи я уже не находила себе места и попросила Василину показать, как дойти до заставы.

Она не удивилась и не стала отговаривать: мол, как ты пойдешь одна ночью по горам? Ведь она-то прожила здесь всю жизнь, и для нее гладкий асфальт с потоком автомобилей мог наверняка показаться гораздо опаснее, чем горы. Василина только указала на верхолазную Лёнькину

тропу, а на проезжую дорогу, которая хоть и петляла кольцами, но сбиться с нее было нельзя.

И вот я осталась одна в темноте. И уже через несколько минут мне стало безразлично, куда идти — вперед или назад, — потому что всюду одинаково страшно и безлюдно.

Не помню даже, как дошла я тогда до заставских ворот. Они открылись передо мной, будто врата спасения.

— Где Лёня? — спросила я у часового. — Он пошел сюда. Часовой помедлил секунду.

— Его на заставе нет, — ответил он.

И за этой короткой заминкой только что пройденный лес представился мне западней, где давно, уже несколько часов, лежит, истекая кровью, Лёня, а здесь никто ничего не знает еще об этом, как не сразу узнали когда-то и о его мертвом отце...

Земля закачалась у меня под ногами, я прислонилась к шлагбауму, перепоясавшему дорогу.

— Пройдите к дежурному, — сказал часовой. — Я объяснений давать не могу.

С крыльца заставы в распахнутую дверь светил желтый огонек, ясный и спокойный. Дежурил Саша Олень, что было большой удачей, потому что перед ним я не постыдилась лица, залитого слезами.

— Лёни нету, — проговорила я сдавленно. — Ушел за светом, и нету...

Саша пододвинул мне табурет.

— Без паники. Старший лейтенант взял его с собой на проверку нарядов. Больно уж просился твой Леонид!

— Но зачем?! — вскричала я, совсем забыв в эту минуту, что, когда лягушонок видит воду, он к ней бросается не раздумывая. — Мы ведь уже были у вас на заставе днем, и он все видел.

Саша снисходительно дернул плечом.

— Днем граница одна, ночью — другая. Помолчи пока.

Я услышала, как тоненько запиликала телефонная трубка. Саша отозвался:

— Дежурный слушает.

— Мне здесь подождать? — робко спросила я, когда он переключил рычажок.

— Сиди. Одной тебе ни почем дороги обратно не найти. А будить жену старшего лейтенанта я не стану.

Какой же тихой и пугающей была заставка в ту ночь!..

Странно, что долгое молчание нас не тяготило. Саша был поглощен ночной заботой, а я ощущала себя выбившимся из сил пловцом, которого подобрали наконец на утлую, но сухую палубу.

— Вам не было, Саша, страшно в горах, когда вы только приехали? — спросила я через полчаса.

— Больше чем страшно, жутко даже! — охотно отозвался он. — У нас ребята стыдятся друг дружке про это говорить, но старший лейтенант сам знает. Был я новичком, он и со мной в ночной наряд ходил. Ничего не объяснял, просто идет рядом. И так понемногу лесные кикиморы, ведьмаки от меня отступают — и камень опять камень, как днем. Не лес надо мною хозяин, а я над ним. Без этого пограничником не станешь.

— А Лёня? — осторожно вернула я.

Олень почесал лыняной затылок.

— Думаю, ему проверку на прочность старший лейтенант производит. Ведь у космонавтов как? Будь ты семи пядей во лбу, а если этот... аппарат... ну... не в порядке...

— Вестибулярный, — подсказала я.

— Вот именно. На центрифуге мутит — куда же в ракету? Против несовершенства природы не попрешь.

— Лёня смелый, — с гордостью сказала я, припомнив, как отозвалась Василина о его походке. — Вверх лезет — за кусты не цепляется.

— Помолчи, — опять внезапно оборвал меня Саша.

Перед ним на щитке замигала лампочка. Олень одним прыжком достиг спальни; что-то зашебаршило в теплой тьме за распахнувшейся дверью. Саша уже снова сидел перед своим щитком, когда, заправляя на ходу за ремни гимнастерки, трое встали перед ним.

— Взять собаку — и на левый фланг, — скомандовал им Саша. — Сработала система.

Потом он докладывал невидимому и далекому старшему лейтенанту, что выслал тревожную группу. А я совершенно уже не могла представить, что это — фантастика или действительность? Потому что начальник заставы и Лёня ушли, как я знала, в лес, а между тем стволы оказались звучащими и горы передавали по телефонным проводам не эхо, а живой человеческий голос старшего лейтенанта.

Я в одинаковой мере ждала и необыкновенного и страшного.

— Как вам не повезло, — сказала я Оленю, улучив момент, — что в ваше дежурство такие происшествия!

— А какие? — переспросил было Саша, но тотчас снова схватился за трубку. — Ага, — сказал он. — Так и доложим.

Когда вошел запыхавшийся старший лейтенант, Олень уже прежним, дневным голосом объяснял, что тревожная группа обнаружила след кабана.

— Ну и ладно, — устало сказал старший лейтенант. — А вы, ребята, спать отправляйтесь, — кивнул он нам с Лёнкой. — Поздно уже, не время для экскурсий.

Лёня тотчас взял меня за руку, и мы вышли, уже вдвоем, на дорогу. Она идет кольцами вокруг горы, на ней не заблудишься.

Серая звезда Венера встала на востоке, обещая близкое утро.

Мы шли молча, держась за руки. Я только спросила, не страшно ли ему было в такую темень в лесу у самой границы.

— Жуть! — ответил он точно так же, как и Саша Олень.

Изю всех пожеланий и напутствий, которыми нас щедро осыпали со всех сторон в вечер нашей свадьбы, самым важным, видимо, был все-таки короткий разговор между старшим лейтенантом, Лёней и Брусняковым. Это было где-то в середине свадебного застолья.

Посидев за одним обильно накрытым столом, мы тотчас перешли за другой — в квартиру начальника заставы, в ту самую комнату, куда покойный Лёнькин отец поселил не-

когда молодую жену, а сейчас их сын привел новобрачную, то есть меня. Все об этом поминали в каждом тосте, так что мне стало даже надоедать.

Но какой расторопной оказалась жена старшего лейтенанта! У нее в запасе была только одна ночь и полдня, а между тем на столе красовалось рыбное заливное, свиной холодец в глиняных мисках, салаты трех сортов и румяный, благоухающий пирог с грибами — потому что весенние грибы уже попадались на лесных просеках.

Среди гостей мы тотчас узнали черноусого председателя сельсовета, несколько часов назад соединившего наши руки не на год, не на два, а навеки; и Маричку — секретаршу, которая оставила запись об этом событии под порядковым номером двадцать два, что, конечно, к счастью: число четное; и достаточно знакомую нам Василину в пылающем абрикосовом джемпере; и совсем незнакомую сестру ее, мать нынешнего ужгородского студента, а также колхозного бригадира, немало не походившего на чудовище, описанное Василиной; местного учителя математики с супругой-географичкой; седого фельдшера и молоденькую медицинскую сестру, его дочь, с которой мы стали шепотом обмениваться сведениями, как и где продолжать заочное образование.

Но прежде чем все сели, вернее, втиснулись за стол, производился ритуал вручения подарков. Нам преподнесли пару пуховых подушек с кружевными прошвами на наволочках, несколько домотканых конопляных скатерок, один лохматый шерстяной палас, который мог выполнять роль ковра и одеяла, три рушника, расшитых крестом, стопку глиняных мисок и резное деревянное блюдо — хочешь на стенку, хочешь под хлеб!

Я представляла, как такое княжеское подношение потрясет мою тетку!

И именно в этот момент поймала краем уха обрывок делового разговора трех мужчин, решавших наше с Лёнкой будущее. Старший лейтенант советовал не медлить с возвращением в Москву и через свой районный военкомат поскорее подавать заявление о приеме в пограничную

школу, потому что занятия начинаются в августе. Брусяков же объяснял Лёне, как надо составить заявление, напирая на биографические данные.

Павел Никодимович воодушевился и очередную стопку поднял уже за то, чтобы в самом скором времени ему довелось послужить на одной заставе с сыном, как он служил некогда с его отцом.

Я чуть не прыснула. То-то обмешурилась моя тетка, думая, что выдает племянницу в профессорский дом, полный всякого добра, с дубовыми дверями и бронзовыми ручками при них, а на самом деле мы с Лёнкой проживем всю жизнь по-походному, и мои платья, окутанные простыней, будут висеть на гвозде рядом с его шивелью.

Я так старательно пыталась подавить неуместный смех, что глотнула подию стопку. Лёня стал колотить меня в спину; потом все закричали «горько», и мы смущенно поцеловались, хотя я еще кашляла как оглашенная.

Наверно, чтобы приободрить нас, поднялся седой фельдшер и, искоса поглядывая на собственную дочь, тоже приблизившуюся вплотную к порогу взрослой жизни, пожелал с чувством.

— Молодому человеку, — сказал он, — поскорее проявить себя храбрым, принципиальным мужчиной, защитником всего слабого и доброго на земле, а новобрачной подольше оставаться такою, какой мы узнали ее сегодня и полюбили: девочкой, счастливой при всяких обстоятельствах!

Все пожелали со мной чокнуться. В глазах у меня поплыл мягкий приятный туман, и я не заметила, как тосты свернули с проторенной дорожки. В какую-то минуту все торжественно встали и вышли в молчании за светлую память капитана Колыванова, отца Лёни, который остался навечно лежать в земле Верховины.

Потом пили в память моей мамы, и я чуть не заплакала, подумав о том, как тихая, скромная мама была бы удивлена и обрадована, узнав, сколько хороших людей собралось за столом в честь ее дочери.

Но еще больше изумилась бы, видимо, другая мать, которая бродит сейчас по пустой квартире, отворяя перед

собой дубовые двери. Уж она никак не могла предположить, что и о ней не скажут тут плохого, прощая ради выросшего сына постыдное бегство...

Ах, какой это был хороший вечер и как он быстро кончился!

Мы возвращались по осыпающемуся склону, над головой мерцал звездный свет, а в руках мужчин вспыхивали электрические фонарики, вырывая из темноты то горбатый камень, то корень, похожий на канкан, то нахохлившийся можжевельный куст.

Василина почему-то весь вечер порывалась рассказать нам про двух собак, которые помогают мужу пасти отару на полонине, и теперь решила, что настал ее час. Эти овчарки были так умны и обладали таким обостренным чувством долга, что когда один пес отлучился по своим песьим делам и прогулял ночь, то наутро, томимый раскаянием, даже не подошел к кормушке, а тотчас стал деловито сгонять овец, отыскивая им лучшее пастбище.

Василинина сестра, в свою очередь, поделилась обидой на белок, которые недавно сжевали у зятя обшлаг повешенного на просушку свитера, как еще раньше унесли в дупло старый шерстяной шарф.

Рассказы про животных взбодрили ослотивших мужчин. У каждого нашлось в запасе, что поведать на этот счет. Бригадир, например, сокрушал дикий лесной кот, который честной охоте на дичищу предпочитал грабеж в кладовой. И каких только ловушек, каких хитроумных засад не устраивало бригадирово семейство! Однако дважды в месяц проныра пунктуально брал свою дань, особенно в те дни, когда бригадир возвращался с низины и привозил городские лакомства вроде охотничьей колбасы.

У порога Василининой хаты нам еще раз дружно пожелали счастливой спокойной ночи; и мы в самом деле немедленно заснули, очнувшись лишь белым утром от гудка заставского «газика», который должен был доставить нас на

ближайшую железнодорожную станцию. Наше новое имущество, упакованное в рогожу и перекрещенное веревками, громоздилось на заднем сиденье.

За рулем сидел Саша Олень. Он не отказался позавтракать вместе с нами и Василиной, и спустя полчаса мы уже готовы были покинуть деревню.

— Эх,— сказал Саша Олень,— сделаю я крюку! Покажу вам зеленую Верховину с такой точки, чтоб она навеки прилепилась до вашего сердца.

И вот мы стали подниматься по самой настоящей горной дороге.

Усыпанная крупным острым камнем, она так изгибалась, петляла, вилась вокруг склонов, что мы бы, наверно, совсем оторвались от ощущения реальности, если бы не природное остроумие Саши Оленя, который к слову вспомнил, что у него временами отказывает передний левый тормоз.

Сначала гора была еще густо усыпана хатками; не теми парадными, что попадались нам на равнине, а горскими пастушьими мазанками с окошками не больше пятака. Лохматые овцы с колокольцами перебежали дорогу; а превращенные в пашню уступы входили, как оказалось, в состав именно тех пятидесяти гектаров пахотных земель, которыми располагал Василинин колхоз. Поля эти размером не превышали нормальный огород.

Деревья — буки, сосны — все вытягивались и совершенно уже походили на длинношеих птиц с выщипанными перьями: крона венчала только верхушку. Застава с часовым у ворот опускалась все ниже, а горы вырастали. За солнечными хребтами поднимался ряд пасмурных, затем тянулась цепь снежно-облачных. Синие, желтые, лиловые и в белых жилах, как самородное серебро.

Пока мы возносились, змеею обвиваясь вокруг горы, на заставу и деревню упал дождь. Нам хорошо было видно сверху: туча опустила пальцы и принялась перебирать переулки, дома, колья в заборах.

Сосны кончились, нас окружали ветвистые голые буки.

Мы поднимались упорно, одиноко, пока не оказалось,



что пятна снега — такие далекие еще десять метров назад — уже хрустели под шинами.

Сашей Оленем овладел азарт. Он понукал машину, она рычала — и вот пройдено опасное место, а нам в лицо, вернее, в стекла забил град. Мы въехали в тучу, которая лишь спустя какое-то время должна сползти в долину. Горы, цепи которых всё возникали и возникали вокруг, словно из волшебного ящика, продолжали свою игру теней и солнечных пятен.

Туча, что на плоской земле накрывает собою небо от горизонта к горизонту, здесь, оказываясь, обладает весьма малой протяженностью: мы видели ее начало. Белые столбы шли по горам, как ходули, и наконец туча обрывалась, а соседняя вершина уже нежилась в ярком солнце.

Куда поднималась дорога? Это знал один Саша.

Исчезли последние овечьи загоны. Белая лохматая собака, помощник чабана, без лая прощально проводила нас широкими скачками; поленницы свеженарубленных дров остались за очередным поворотом... Наконец открылась новая страна, без людей и без деревьев, — вершина!

Распластанные кусты можжевельника, вереск, упругая, пружинящая под ногой кочковатая почва в длинных густых желтых травах, блюдца сахарного снега и между ними цветы — крупные лиловые стаканчики: черпай росу и пей! А роса блестела в изобилии. Солнце не гнушалось отразиться в ее маленьких любопытных глазах, и они отовсюду смотрели на нас и на нашу запаренную дымящуюся машину.

Над вершиной сияла незамутненная лазурь. Вокруг теснились девятиярусные горные цепи. Солнечные пятна, как пасущиеся отары, бродили по ним, щипля желтую прошлогоднюю траву: ведь зеленая весна начиналась гораздо ниже. Пробегаящие стороной тучи свешивали белые занавеси, и соседняя гора начинала на глазах расплываться.

Ветер, сильный на западном склоне, здесь совсем стих; нас обняла тишина, особая тишина вершины.

На самой высокой точке стояла старая покосившаяся вышка из серых бревен, принявших на себя бесчисленное количество бурь и ветров. И когда мы добрались до нее по

спутанной, густой, как войлок, траве, то уже и слов не могло найтись... Карпаты, угрюмые, тесно сбитые, головастые, под нами, вокруг нас, за нами — повсюду, словно ими только и заполнен мир и нет ничего другого: ни степей, ни морей. Да, пожалуй, и не надобно ничего другого!

Так мы долго простояли, как у порога, у самой полосы снегов, набрав алмазные зерна в горсть и отерев ими щеки и губы, а уж потом увидели под ногами, на склоне нашей же горы, райский уголок: горная терраса, уступ в соснах, словно насажденных чьей-то благодетельной рукой.

Мы, северяне, видывали и рамени на глинах, и песчаные боры, и корабельную сосну, и шатровую ель — знаем толк в хвойных лесах! Но это был именно райский сад, что-то целомудренное, стройное, манящее — десятка три деревьев с почти черной хвоей, а под ними темно-золотая земля. Ветер, который леденисто дышал на вершине, словно обегал этот заповедный уступ: там царствовал покой, край всех желаний...

Мы стояли до тех пор, пока из наплывшей тучи на наши простоволосые головы не посыпались снежинки. Они были так велики, что их, честное слово, нельзя было назвать просто снежинками. Они пролетали всего несколько метров: до тучи, казалось, можно было дотянуться рукой.

Так мы увидели рождение снега. Он парил по-птичьи, торжественно упал, но это вовсе не означало возвращения зимы. Лиловые стаканчики горных цветов, которые здесь называют растами, ловили его раскрытыми ртами, так же безбоязненно, как только что пили росу.

...Когда мы начали спуск, половина Карпат задвинулась кисейной пеленой. Пелена дрожала, колыхалась, и все это очень напоминало огромное окно в мир, за которым идет снег, снег, — и, кроме гор и снега, опять ничего не существует.

Ирпень, март 1969

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывать
об этой книге присылать по адресу:
Москва, 125047, ул. Горького, 43,
Дом детской книги.

Для старшего возраста

Лидия Алексеевна Обухова

ВЕСНА ЧАЩЕ, ЧЕМ РАЗ В ГОДУ

ИБ № 4082

Ответственный редактор
С. Н. Боярская,
Художественный редактор
Н. З. Левинский,
Технический редактор
Г. Г. Рыжкова,
Корректоры

В. В. Борисова и Л. М. Писман.
Сдано в набор 08.01.80. Подписано в печать
09.07.80. Формат 60×90/16. Кум. офс.
№ 1. Шрифт школьный. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 4,37. Ти-
раж 100 000 экз. Заказ № 316. Цена 30 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени изда-
тельство «Детская литература». Государст-
венного комитета РСФСР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли. Москва,
Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский
ордена Трудового Красного Знамени поли-
графкомбинат детской литературы им. 50-ле-
тия СССР Республикополиграфпрома Госкомпа-
тата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия
Октября, 46.